

ВОЕННЫЕ
МЕМУАРЫ

1907
1918

А.Ф. Редигер

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

**Воспоминания военного министра
1907–1918 гг.**



Военные мемуары (Вече)

Александр Редигер

**История моей жизни.
Воспоминания военного
министра. 1907—1918 гг.**

«ВЕЧЕ»

1918

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)5

Редигер А. Ф.

История моей жизни. Воспоминания военного министра. 1907—1918 гг. / А. Ф. Редигер — «ВЕЧЕ», 1918 — (Военные мемуары (Вече))

ISBN 978-5-4484-4432-6

Книга является второй частью воспоминаний профессора Николаевской академии Генерального штаба, военного министра Российской империи в 1905—1909 гг. А. Ф. Редигера. В ней рассказывается о завершении его служебной деятельности в качестве военного министра, об участии в работе Государственного совета, событиях Февральской и Октябрьской революций 1917 года, и заканчивается она описанием начала скитаний на фоне разгорающейся Гражданской войны. Автор воспоминаний не только живописует события, свидетелем которых он был, но и дает им взвешенную оценку. Несомненный интерес представляют также характеристики Николая II, его ближайшего окружения, министров и других выдающихся современников. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)5

ISBN 978-5-4484-4432-6

© Редигер А. Ф., 1918
© ВЕЧЕ, 1918

Содержание

Глава восьмая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Редигер
История моей жизни. Воспоминания
военного министра. 1907–1918 гг.

© ООО «Издательство «Вече», 2023

* * *

Глава восьмая

«Начало 1906 года явилось завершением старого режима». – «Беспорядки в стране продолжались». – Ф. Ф. Палицын. – Возвращение в Петербург А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича. – Дело генерала И. В. Холщевникова. – Закон о пенсиях. – О сокращении сроков службы. – А. А. Поливанов. – Открытие Думы. – П. А. Столыпин. – Любимый полк государя. – О Гвардии. – Некомплект офицеров в армии. – Террор против власти. – «Я Столыпина виню в жестокости». – Проблемы финансирования армии

Начало 1906 года явилось завершением старого режима. Весной должна была собраться новая Государственная Дума, и к тому времени необходимо было закончить издание новых законов, регулирующих новый режим: законов основных, финансовых, о новом устройстве Государственного Совета, о верховных судах – Уголовном и Военно-уголовном и проч. При этом, между прочим, возникал вопрос о военной смете, буду ли я настаивать на сохранении предельного бюджета? Я сразу вполне категорически от этого отказался. Я уже говорил о том, что предельный бюджет при недостаточности ассигнований не представлял ничего заманчивого; но, кроме того, выделение военного ведомства из ведения Думы должно было вызвать со стороны последней враждебное отношение к Военному министерству; между тем без Думы я все равно не мог бы получить нужных для армии средств!

Все эти законы разрабатывались и утверждались в спешном порядке, дополнялись и согласовывались, так что в них даже трудно было разобраться до окончательной их кодификации. Как на пример укажу: указания о том, что назначенные государем члены Государственного Совета не могут быть увольняемы от должностей без их о том просьбы, были вставлены как-то под самый конец, при окончательной редакции закона о новом Государственном Совете¹.

Беспорядки в стране продолжались, и войска требовались всюду, для поддержания порядка. Палицын мне говорил, как командир одной из кавалерийских бригад, генерал Крыжановский, ему доказывал в особой записке, что беспорядки быстро были бы прекращены, если бы войска действовали более энергично или, вернее говоря, более беспощадно, не останавливаясь перед сжиганием деревень. Эту записку Палицын передал Дурново и Витте, которые стали приставать ко мне, чтобы я дал соответствующее распоряжение. Я вовсе не хотел обращать войска в палачей или в экзекуционные команды, так как считал, что это не их призвание и, кроме того, это весьма опасно: войска легко при этом разнуздаются и обратятся просто в грабителей, а население возненавидит армию и не будет давать средств на удовлетворение ее нужд! Но Дурново и Витте настаивали, и я предложил им самим разработать те указания, которые они желали бы преподать войскам. Дурново составил проект инструкции² и внес ее в Совет министров, где она рассматривалась 10 января. По этой инструкции войскам предписывалось не останавливаться ни перед чем, лишь бы добиться поставленной им цели. Для красоты слога говорилось, что отрядами должны командовать опытные, спокойные штаб-офицеры. Инструкцию мне предлагалось преподать войскам «в инструкционном порядке».

Я заявил, что не стану спорить, нужна ли такая инструкция или нет, но прошу пояснить мне, имею ли я право послать полк, чтобы сжечь хоть Колпино, где рабочие бунтуют! Если я,

¹ Коковцов принимал близкое участие в разработке всех новых законов, но про эту статью ничего не знал. На заседании Совета министров 20 мая он говорил, что назначенные члены Государственного Совета находятся во власти правительства, так как они могут быть уволены от службы; я сказал, что закон их от этого ограждает. Коковцов спорил и предложил мне пари на пять рублей. Долго я рылся в разных законах нового издания, пока не нашел нужную статью. Коковцов был ей очень рад и с удовольствием вручил мне свой проигрыш.

² Не помню – может быть она была взята из записки Крыжановского?

министр, не имею этого права, то как же я могу в инструкционном порядке уполномочивать на поджог городов и деревень всех начальников отрядов? Затем еще: с указаниями на желательные качества начальников отрядов я согласен; для красоты слога можно еще добавить, что он должен быть человеколюбив, беспристрастен и проч. Но откуда взять таких начальников отрядов? Вероятно, большинство полковых командиров, как назначаемых с особым выбором, отвечали бы этим требованиям, но отнюдь не все штаб-офицеры; отрядов же рассылается столько, что они бывают силой всего в роту или полуроту, а в кавалерии – взвод. Очевидно, что такими отрядами будут командовать не отборные штаб-офицеры, а случайные офицеры, вернее всего, поручики и при том – либо трезвые, либо пьяные! Имею ли я право делегировать этим начальникам власть, мне самому не принадлежащую? Да признает ли Совет это вообще желательным при таких условиях? Витте тотчас заявил, что действительно на нем настаивать нельзя, и он был отклонен без прений. Решено только подтвердить, что войска должны добиваться выполнения задач, которые им будет ставить гражданское начальство.

Вся эта история имела весьма некрасивый вид: при прямом отказе с моей стороны можно было говорить, что я недостаточно энергичен и поэтому деятельность войск недостаточно успешна; в случае же моего согласия, вся ответственность за последствия упала бы на меня; а между тем последствия должны были быть ужасными для населения, могли вызвать прямое восстание и совершенно деморализовать войска. Любопытно и то, что хотели, чтобы я это проделал «в инструкционном порядке» от себя, а не решались ни внести законопроект в Государственный Совет, ни испросить высочайшее повеление!

При следующем моем личном докладе, 14 января, я доложил государю весь этот инцидент. Он одобрил мой ответ и только спросил, почему я хотел бы сжечь именно Колпино? Я сказал, что назвал его именно потому, что в последнее время там были беспорядки, и если я любому офицеру могу разрешить сжечь любую деревню, то должен же сам иметь право сжечь и Колпино!

17 января у меня был князь Андроников и передал мне, что государь говорил великому князю Константину Константиновичу, что весьма доволен мною; не знаю, находилось ли это в связи с моим докладом 14 января о дебатах в Совете министров?

Роль Палицына в данном вопросе наводит на размышление: ожидал ли он действительно пользу от беспощадности войск, или же затеял это дело, чтобы подвести меня? Я склонен верить первому, так как около этого времени в Прибалтийский край были двинуты карательные экспедиции Орлова и других, которые действовали именно в таком духе, вероятно, по приказанию великого князя Николая Николаевича, и первое сведение о том, что Палицын интригует против меня, я получил (без указания подробностей) от великого князя Константина Константиновича только 20 июля 1906 года, поэтому готов поверить, что он целый год относился ко мне действительно хорошо.

Внешне наши отношения были отличные. По вторникам мы вместе ездили с докладом к государю и по пути туда и обратно успевали переговорить о всяких делах. Доклад его был после моего, поэтому он в Петергофе, где расстояние до помещения было большое, вовсе не попадал туда, а в Царском лишь иногда на несколько минут, чтобы закусить остатками моего завтрака, поэтому я всегда делал несколько бутербродов, которые отвозил ему на железную дорогу, если ему не удавалось заехать ко мне в помещение. Он, в свою очередь, оказал мне курьезную любезность: 4 мая государь осматривал топографические работы 1904 и 1905 годов, произведенные Корпусом топографов, подчиненным Палицыну; за эти работы, произведенные неподведомыми мне чинами, он испросил и мне «искреннюю признательность» государя, объясняя мне, что все же считает меня главой всего военного ведомства.

Только к началу 1906 года Палицын разработал проект устройства своего Управления и штаты для него. Он много лет мечтал о своей тогдашней должности и в комиссии у великого князя, весной 1905 года, уже вполне определенно указывал будущую организацию Глав-

ного управления Генерального штаба, но до конца года никак не мог принять окончательного решения.

Ему хотелось иметь у себя, сейчас, три отдела: генерал-квартирмейстера, военных сообщений и топографический, к которым добавить впоследствии еще один: войск сообщения; сверх того, он хотел иметь при себе, в виде центрального органа, канцелярию из представителей всех этих отраслей. Я с ним часто беседовал о будущей организации его Управления и настаивал на том, чтобы он отказался от этой канцелярии, так как он должен работать с начальниками отделов, объединять их деятельность и не иметь от них секретов; с этим он, наконец, согласился. Затем, я его уговаривал иметь не одного, а двух генерал-квартирмейстеров, для Европейского и Азиатского фронтов, но он не захотел.

Его проекты положения и штата подлежали рассмотрению Военного совета; на заседание 12 января Палицын приехал сам; я ему, как лицу мне не подчиненному, отвел почетное место правее себя. Проект вызвал сильные возражения. Палицын защищал его слабо и ограничился заявлением мне на ухо, что если проект не пройдет, то он не сможет оставаться в должности! Мне удалось провести проект, хотя и с трудом: дебаты длились четыре часа с четвертью.

Ввиду значительности нового расхода проект вызвал возражения и со стороны Министерства финансов и контроля, и дело перешло в Особое совещание, в котором, вместо Сольского, уже председательствовал Тернер. Палицын очень остроумно уехал за границу чуть не накануне заседания (21 марта) Особого совещания, где мне приходилось защищать чужой штат, с которым я сам не был согласен, защищать расходы из моей же сметы! Но тут мне помогла сама сложность моего положения: оппоненты отказались от своих возражений, не видя перед собою автора штатов³.

Штаты действительно были составлены широко, и вначале многие чины Управления не знали, что им делать? Один офицер Генерального штаба даже подал об этом рапорт, заявив, что он уже столько-то месяцев сидит без дела. Я лично о работе этого Управления не имел ни малейшего представления. Слабая деятельность его вначале объяснялась, конечно, и крайней нерешительностью Палицына; он чуть ли не на третьем году своего руководства Генеральным штабом говорил мне, что его Управление еще разрабатывает программу предстоящей ему работы и методы ее выполнения!

Министерство внутренних дел собрало сведения о настроении населения, и сообразно этому просили распределить войска; у великого князя Николая Николаевича по этому вопросу два раза, 28 января и 1 марта, были совещания с Витте и Дурново, чтобы сколько-нибудь согласовать наши интересы; обучением войск в этом году пришлось поступиться ради полицейской их службы. Полицейская стража только что формировалась и еще долго имела весьма пестрый состав; некоторые отряды были составлены из запасных чинов местных кавалерийских полков и сразу стали надежной силой, тогда как другие еще долго оставались почти бесполезными.

Громадную службу тогда сослужили России льготные казачьи части; между тем вызов этих частей грозил разорением самому казачьему населению, так как у него оставалось мало рабочих рук для выполнения полевых работ; кроме того, льготные казаки обносились и им, по справедливости, надо было помочь в поправке своего обмундирования и снаряжения. Главное управление казачьих войск и его начальник, генерал-лейтенант Щербов-Нефедович, об этом не подумали, и оба этих вопроса я поднимал лично. Когда я в конце 1905 года заговорил об этом, то Щербов-Нефедович мне сказал, что войсковые начальства об этом не просят, да и откуда взять столько денег? Я приказал затребовать по телеграфу сведения о стоимости найма рабочих вместо отсутствующих хозяев; сведения получились самые разнообразные, так как и мест-

³ Я еще советовал Палицыну принять для своего Управления строевые оклады содержания (жалованье по чинам), чтобы облегчить обмен лиц между Управлением и войсками. Он не согласился, так как тогда не располагал бы остатками от содержания, а впоследствии жаловался, что упомянутые переводы затрудняются различием в окладах содержания.

ные условия были весьма различны. Я остановился на сумме пособия в 100 рублей семье каждого призванного казака, причем требовался отпуск около семи миллионов рублей – суммы крупной, а при тогдашнем безденежье даже огромной. Я доложил государю, что возбуждаю ходатайство об отпуске этой суммы. Он выразил не только полное согласие, но и сожаление, что не может выдать из своего кармана; в таких случаях он готов завидовать американским миллиардерам, которые не знают, куда девать свои деньги. Министерство финансов не преминуло выторговать себе скидку и согласилось на пособие в 75 рублей. В конце февраля Государственный Совет разрешил нам на это кредит в 5175 рублей; таким образом, на службе тогда было около семидесяти тысяч казаков второй и третьей очередей. Мера эта произвела на казаков самое лучшее впечатление, устранив опасение за разорение хозяйства и неудовольствие вызовом на службу. В последующие годы такие же пособия разрешались Советом министров без возражений.

В виде награды казачьим войскам и для возможного обеспечения их существования в будущем в начале 1906 года, по личному указанию государя, им были пожалованы грамоты, коими подтверждались их права на земли, которыми они владели. Помнится, что часть грамот я мог тотчас представить к подписи, часть должна была обсуждаться в Совете министров, а некоторым войскам нельзя было выдать грамот за неопределенностью их владений⁴.

Всем вообще войскам, при вызове их на содействие гражданским властям, были испрошены добавочные оклады, как офицерам, так и нижним чинам; я считал это полезным как для обеспечения войск, так и для того, чтобы их меньше трепали в виду потребного при вызове расхода.

Ввиду брожения в стране, при котором более всего волновалась и буянила молодежь, мы, конечно, с известным беспокойством относились к прибытию в войска новобранцев: каково будет их настроение и как они будут поддаваться воспитанию? К удивлению, в конце 1905 и в начале 1906 года сведения стали получаться крайне утешительные, что новобранцы ведут себя лучше и занимаются усерднее, чем когда-либо! Вероятно, это в значительной степени зависело от более усердной работы офицеров, но, тем не менее, явилось совершенной неожиданностью, крайне утешительной, дававшей уверенность в восстановлении качеств армии, как только ей вновь дадут возможность заниматься своим делом.

Улучшение быта нижних чинов давало благие результаты – все насущные потребности солдата были обеспечены, пища была отличная, и я распорядился, чтобы о всех случаях появления в войсках цинги производилось расследование для доклада мне, так как главная причина ее возникновения, плохое питание, уже была устранена. Затруднение представило, однако, заготовление вновь введенных предметов: одеял, постельного белья, носовых платков, так как на рынке готового товара было мало. Кроме того, Министерство финансов для сокращения сметы настояло перед Государственным Советом на уменьшении сметных цен, обещая нам добавить сколько нужно, если заготовление обойдется дороже; из этого вышло новое затруднение: войска готовы были сами заготавливать новые предметы довольствия и действительно могли бы помочь Министерству в этом отношении, – но мы могли им давать лишь сметные цены, по которым ничего нельзя было заготовить. Само Интендантство заготавливало с торгов по более высоким ценам, зная, что Министерство финансов должно будет заплатить разницу в ценах, торговых и сметных; войска же недоумевали, почему им в таких же ценах отказали, а все заготовление затягивалось, и нижние чины претендовали, что им не дают обещанного, и все это только для того, чтобы обманно уменьшить на несколько миллионов предстоявшие расходы и неизбежный дефицит по смете на 1906 год! Я не думаю, что подобный обман при составлении

⁴ Грамоты, прошедшие через Совет министров, к подписи представил Витте, и он же, получив их обратно подписанными, скрепил их. Государь потом выражал мне сожаление, что их скрепил Витте, а не я; по-видимому, он считал, что в таком виде грамоты являются уже не личной его милостью, а актом правительства. Грамоты не могли быть выданы, кажется, Амурскому, Уссурийскому и Семиреченскому войскам.

государственной росписи когда-либо приносил пользу; он должен, наоборот, подрывать всякое доверие к цифрам росписи, а следовательно, вредить кредиту государства. Добавлю еще, что наши переплаты против сметных цен Министерство финансов возмещало нам крайне медленно, оспаривая каждую цифру и задерживая платежи.

В конце января из Кубанской области вернулся генерал Дукмасов, командированный туда для расследования бывших там беспорядков, о которых я уже упоминал. Оказалось, что больше всего бунтовали части резервной пехотной бригады, стоявшие на Северном Кавказе, а кубанские казаки стали бунтовать сдуру и спьяну, не имея хороших офицеров. Любопытная подробность: против бунтовавших казаков станицы Келермесской был двинут отряд кубанских же казаков, но до столкновения бунтовщиков успели уговорить старики из соседней станицы, кажется Белореченской.

В январе в газетах появились сведения о приезде Субботича в Туркестан и о речи, с которой он обратился к встретившим его чинам администрации и представителям от местного населения. Речь была крайне либеральная. Субботич сказал, что населению уже дарованы всякие свободы и он их будет охранять; он, однако, вполне понимает стремление к дальнейшему расширению свобод, но оно должно идти законным путем!

Об этой речи меня тогда же с удивлением и неудовольствием спрашивал государь, великий князь Николай Николаевич и многие другие; мое положение было неприятно, так как я провел Субботича на должность. Я написал Субботичу частное письмо, спросил его, правда ли то, что написано в газетах, и советовал таких вещей не говорить. Субботич мне ответил, что правда, и обещал впредь держать язык за зубами. Мне до сих пор не ясно, зачем он тогда сказал эту речь? Для популярности или он серьезно думал, что мы стоим накануне дарования новых свобод и что он, как генерал-губернатор, хотя и в центре Азии, должен говорить политические речи? Дело это тогда заглохло, и я до осени не имел никаких вестей о том, что происходит в Туркестане и как Субботич ведет себя там. Из других округов все же приезжали в Петербург старшие начальники, привозившие вести о происходящем в округе (мне или великому князю Николаю Николаевичу, или Палицыну), я получал также сведения от министров внутренних дел и юстиции (донесения прокуроров судебных палат), но из азиатских округов никаких таких сведений не было.

В начале 1906 года был образован Комитет по образованию войск, о котором я уже говорил. Первым председателем его я избрал члена Военного совета генерала Мылова, командовавшего на войне 8-м корпусом. С войны он вернулся совсем больным и только по моей настоятельной просьбе взялся за новое дело, которому вполне сочувствовал. Я его знал мало, но он на меня производил отличное впечатление человека умного, твердого, вполне порядочного. К сожалению, его здоровье вскоре ухудшилось, он отказался от должности и в...⁵ году был заменен Скугаревским⁶.

Образованная в конце 1905 года Высшая аттестационная комиссия стала заседать весьма усердно, в течение первых трех месяцев было девять заседаний⁷. За это время были рассмотрены все имевшиеся аттестации (старого типа) на генеральских чинов и намечено — кто подлежит выдвижению. Об увольнении за негодностью еще не могло быть речи, так как новые правила аттестования и увольнение в аттестационном порядке, задержанные Советом государственной обороны, мне удалось провести в жизнь только в конце года. Эти заседания комиссии были особенно полезны в том отношении, что между ее членами установилась большая общность взглядов на требования, которые должны предъявляться к кандидатам на высшие должности. Я неизменно настаивал на возможной строгости выбора и чтобы интересам службы

⁵ Пропуск в тексте.

⁶ 20 января 1907 года. — *Ред.*

⁷ Положение о ней было утверждено лишь 6 апреля 1906 года.

придавалось большее значение, чем интересам отдельных лиц; в принципе со мной соглашались, но на деле были послабления, с которыми я боролся в меру сил. По моей инициативе, комиссия приняла принципиальное решение, что начальник, признанный негодным для данной должности, не может вновь получать такую же должность, хотя бы в другом округе. Это было важно потому, что до тех пор лиц, признанных непригодными, обыкновенно не увольняли, а норовили перевести на равную должность в другом месте. Эти же заседания подготавливали почву для более сочувственного отношения к учреждению аттестационных комиссий в войсках.

Я уже упоминал о том, что вносил в комиссию сведения о процессе барона Меллера-Закомельского с дочерью и его объяснения по этому поводу. Еще в двух других трудных делах Комиссия мне помогла разобраться, а именно в делах генералов Поппена и Уссаковского.

Поппена я знал по его службе в Генеральном штабе в Петербургском округе – благовоспитанный балтийский немец, со средствами, всегда элегантный, он производил на меня впечатление добросовестного, но довольно ограниченного работника. До войны он командовал дивизией в Киевском округе. Дивизия его была мобилизована для отправки на Восток, но Поппен заявил, что он по болезни глаз в поход идти не может, и ему дали другую дивизию в Риге⁸. В конце 1905 года в Риге были большие беспорядки. Поппен оказался начальником гарнизона в Риге под начальством Соллогуба, которому были присвоены права командующего войсками относительно войск, находящихся в Прибалтийских губерниях. О том, что происходило в Риге в конце 1905 года, я имел лишь весьма смутные сведения; известно было о беспорядках, о забастовках, о том, что из засады убили нижних чинов (помнится, драгун), но каковы были силы бунтующих и что делал гарнизон, был ли он в силах при должном руководстве восстановить порядок, – нам не было видно.

В начале января в Петербург приехал сам Поппен для доклада о тяжелом положении гарнизона и с просьбой поддержки; таковой, конечно, невозможно было не дать, и ему лишь пришлось указать, что надо действовать энергично, так как иначе никаких сил не хватит. Одно лишь заявление его оказалось существенным, что артиллерийская бригада, приданная его дивизии, не имеет боевых припасов, разве по два-три выстрела на орудие! Потом выяснилось, что его артиллерийскую бригаду, как уже перевооруженную скорострельными орудиями, отправили на войну, а его дивизии придали временно другую бригаду, которая по распоряжению артиллерийского начальства, во избежание лишних хлопот, приехала в Ригу без боевых припасов! Помнится, что первое снабжение таковыми она получила из запасов Усть-Двинской крепости, до чего в Риге не додумались. Пробыв в Петербурге два-три дня, Поппен уехал назад в Ригу.

Вслед за тем один отставной генерал (фамилии не помню), живший в Петербурге, прислал мне письмо от своего сына, служившего в Риге, в упомянутой артиллерийской бригаде. В этом письме были изложены события, происходившие в Риге, и описана деятельность ее гарнизона. Последний был в беспрестанных и непомерных нарядах, караулы (даже с артиллерией) были расставлены по городу, стояли сутками на улицах, но неизвестно для чего, так как войскам не приказывали действовать. Помнится, что даже с бунтарями, предательски убившими драгун, а затем укрывшимися в заводском здании, завели какие-то переговоры, во время которых они убежали. Картина была безрадостная – делалось все, чтобы истомить и деморализовать гарнизон! Далее, я получил сведения, что Поппен, боясь революционеров, выехал из Риги в штатском платье и в таком виде прибыл на казенную квартиру своего сына, служившего в л. – гв. Конном полку.

⁸ Военный министр Сахаров мне рассказал, что государь приехал благословлять в поход бывшую дивизию Поппена, которой тот еще не сдал. Поппену, стоявшему на правом фланге, государь не подал руки. Поппен все же остался на службе не только во время войны (когда отставок не было), но и после ее окончания.

Слабость и нерешительность в руководстве войсками, неумение распоряжаться ими при подавлении беспорядков были явлением общим. Таков уж был состав высших начальников, благодушных и приученных бояться инициативы и ответственности. О перевоспитании их не могло быть и речи – надо было устранять особенно плохих и заменять их более молодыми, от которых можно было ожидать, что они будут лучше. Главным виновником в Риге за неправильное употребление войск был Соллогуб, но его смена зависела не от меня, поэтому я о его действиях лишь мог сообщить графу Витте, а со своей стороны – дать ему указания, заведомо бесплодные. Но поездку Поппена, страха ради, в штатском платье, я считал недопустимой; самый факт оставления им гарнизона, находившегося в трудном положении, ради доклада, который мог провести любой толковый офицер, я тоже считал неуместным и считал, что такой генерал нетерпим на службе. Запрошенный мною командующий войсками Виленского округа генерал Фрезе был того же мнения. Я представил дело в Высшую аттестационную комиссию, которая на заседании 5 января постановила немедленно его уволить, и постановление ее было высочайше утверждено⁹. Поппену было предложено подать в отставку, что он и исполнил. Но затем он стал просить о подробном расследовании дела, причем Соллогуб и ливонский губернатор Звегинцов (?) усердно поддерживали его; дело было вновь внесено в Комиссию, которая осталась при прежнем мнении.

При отсутствии тогда способов к увольнению по непригодности, приходилось увольнять в дисциплинарном порядке, что, конечно, имело позорящий характер; порядок этот был предусмотрен в дисциплинарном уставе, но до меня к высшим чинам, кажется, никогда не применялся.

Когда весной 1906 года был объявлен новый закон о пенсиях по военному ведомству, Поппен просил о пенсии по этому закону, для чего не было никаких оснований. Он подал жалобу в Сенат на свое увольнение, но Сенат ее отверг, так как оно состоялось в законном порядке. Тогда он просил сколько-нибудь усилить его пенсию, так как его имение в Прибалтийском крае было разграблено и он разорен – эта просьба его была исполнена.

Уссаковский, отчисленный в декабре 1905 года от должности начальника Закаспийской области в мое распоряжение, в начале года приехал в Петербург и заявил, что за собой не чувствует вины – он действовал в духе Манифеста 17 октября и считал долгом допускать проявление всяких «свобод». Для выяснения всех обстоятельств дела я 11 февраля поручил генерал-лейтенанту Бородину расследовать его. Это расследование и объяснения Уссаковского были рассмотрены в Высшей аттестационной комиссии, которая решила не давать ему нового строевого назначения, поэтому он был уволен от службы. По причинам, мне не ясным, за Уссаковского очень хлопотал Палицын.

Начальником дивизии в Ревеле был Генерального штаба генерал-лейтенант Воронов, которого я знал давно¹⁰ и считал мало пригодным к чему-либо. Великий князь Николай Николаевич был им очень недоволен (кажется, винил его в личной трусости) и просил немедленно его убрать. Я его взял в свое распоряжение на шесть месяцев и внес вопрос о нем в Высшую аттестационную комиссию. Великий князь заявил, что он у себя ему дивизии дать не может; я ответил, что по уже принятому нами решению тот тогда не может получить дивизии и в другом округе, и он был уволен от службы. Воронов почему-то (по делам благотворительности?) был известен одной из императриц и подал ей прошение, которое государь передал мне, говоря, что Воронов просит об усилении ему пенсии. Просматривая тут же прошение, я увидел, что Воронов просится в сенаторы или хотя бы усиления пенсии. Претензия Воронова попасть в Сенат показалась мне до того курьезной, что я сказал: он просится в Сенат! На что государь мне ответил: «Я вам об этом не говорю, а только о пенсии». Пенсия была увеличена.

⁹ Тогда же было решение уволить еще одного начальника дивизии, Нечаева, кажется, за пьянство при нижних чинах.

¹⁰ Он был приятелем Березовского и служил в Петербургском округе.

Во всех этих случаях Комиссия мне сильно помогла, снимая с меня обязанность единолично решать участь людей, которые притом сами не сознавали своей вины. Упомяну здесь, кстати, об одном рассказе великого князя Николая Николаевича перед заседанием Комиссии 2 января. Отозвав меня и Палицына, он нам сказал, что у генерала от инфантерии Паренсова, состоявшего тогда в моем распоряжении, собираются офицеры и там какой-то полковник Павлов уговаривал офицеров заменить государя великим князем Михаилом Александровичем и арестовать Витте. Он прибавил, что уже сделано распоряжение наблюдать за Паренсовым, но его больше всего в этом сведении поразило то, что хотят арестовать Витте, а ведь именно Витте хотел бы возвести на престол Михаила Александровича! Никогда ни до, ни после этого¹¹ я не слыхал ничего о чьем-либо намерении свергнуть государя и заменить его великим князем Михаилом Александровичем; я только знал от бывшего воспитателя великого князя, генерала Чарторийского, что он был крайне счастлив, когда с него было снято звание наследника, и что он только и мечтал о частной семейной жизни. Подозрения против Паренсова, очевидно, тоже оказались ложными, так как он вскоре был назначен на доверенный пост петергофского коменданта. Невольно является подозрение — не были ли эти сведения получены великим князем спиритическим путем?

Я уже говорил, что в конце 1905 года было решено отозвать Линевица, заменив его Гродековым. Во избежание подрыва авторитета главнокомандующего цель поездки Гродекова на Восток держалась в полной тайне и даже самому Линевицу было лишь сообщено, что Гродеков едет к нему по особому высочайшему повелению, да и эта телеграмма была отправлена, лишь когда Гродеков уже был около Иркутска. Гродекову были даны с собой рескрипты на имя Линевица, Куропаткина и Батянова, которыми они увольнялись от должностей. Гродеков выехал с небольшой свитой в особом поезде 21 января.

Куропаткина государь не желал видеть, а потому в рескрипте на его имя, по моему предложению, ему предписывалось вернуться через Владивосток, морем, для наблюдения за порядком отправления запасных этим путем. Имелось в виду, по прибытии его в один из портов Черного моря предложить ему пожить в своем имении в Сочи; но он телеграммой на имя государя просил разрешения, ввиду пострадавшего здоровья, вернуться сухим путем. Разрешение было дано через Фредерикса, причем, насколько я знаю, Куропаткину было предписано жить в своем имении в Псковской губернии; лишь позднее ему был разрешен приезд в Петербург, и он даже был принят государем. Он остался генерал-адъютантом и не получил иного назначения.

Увольнение от должностей было совершенной неожиданностью для Линевица и Куропаткина¹². Гродеков по приезде в Главную квартиру Линевица раньше всего пригласил его к себе в вагон, где передал ему рескрипт, а уж затем вышел к почетному караулу. Линевиц и Куропаткин выехали через два-три дня, что им было нетрудно, так как они жили в поездах.

Куропаткин еще на театре войны начал составлять подробную историю войны, которую по его указаниям писали несколько офицеров Генерального штаба.

История эта составлялась под видом всеподданейшего отчета бывшего главнокомандующего. Я вовсе не имел времени знакомиться с этой историей; на мое счастье, суждение о ней и не входило в обязанность Военного министерства, а было делом Палицына. По отзывам его и других лиц, читавших этот труд, он являлся панегириком самому Куропаткину, но зато забрасывал грязью всю армию: генералов, офицеров и нижних чинов. По докладу Палицына этот труд был положен под сукно, и только несколько десятков или сотня экземпляров были розданы отдельным лицам. Какие-то экземпляры все же попали за границу, где стали выходить переводы этой истории. Чрезвычайно верную оценку этому самовосхвалению Куропат-

¹¹ До 1917 года.

¹² Батянов, помнится, уехал уже раньше в отпуск.

кина дал в какой-то немецкой газете известный военный писатель Гедтке, сравнивший его с другим неудачным полководцем, Бенедекком.

В поражении австрийцев в 1866 году был, очевидно, виноват не один Бенедек: виноваты были и его ближайшие подчиненные, и войска, и неправильная подготовка к войне, а часть вины, вероятно, падала и на императора, бывшего при его армии, но Бенедек всю вину принял на себя. Он ушел в частную жизнь, скрылся от всех и, невзирая на сыпавшиеся на него нападки и обвинения, сохранял полное молчание; мало того, после его смерти у него не нашли не одной строки самооправдания, ни одного припрятанного документа! Приведя Бенедека как пример полководца несчастного, но обладавшего величием души и патриотизмом, Гедтке противопоставляет ему Куропаткина, не признающего себя виновным ни в чем и сваливающего всю вину в неудачах на своих подчиненных, не стесняющегося чернить армию и даже инсинуирующего на вред от получавшихся им свыше указаний. Едва ли можно более убийственно охарактеризовать мелкую личность Куропаткина, чем то сделал Гедтке.

Приятель Куропаткина, Сухотин, вероятно, в 1907 году, высказал самому Куропаткину горькую правду по тому же поводу. Приехав в Петербург, Куропаткин накопил целую коллекцию книг по военной истории и стратегии, которые он собирался везти с собою в деревню. Сухотин, увидя книги, спросил, не собирается ли он готовиться к роли главнокомандующего в новой войне? Куропаткин ответил утвердительно; он был убежден, что без него не обойдутся. Сухотин ему сказал, что это невозможно, так как никто не захочет служить с ним: ведь в своих промахах он винит подчиненных и выдает их с головой¹³.

Против возвращавшегося из армии Линевица имелась целая серия обвинений в бездействии власти: раньше всего его обличало собственное его письмо, о котором я уже говорил. Затем командующий одной из армий, Батьянов, представил Линевицу записку, в которой указывал на необходимость поддержания более строгого порядка в войсках и просил Линевица, если тот не согласится с запиской, представить ее высшему начальству, что тот и сделал. Барон Бильдерлинг по возвращении из армии представил мне записку в том же духе; наконец, были еще упомянутые выше обвинения со стороны барона Меллера-Закомельского. Наконец, он не исполнил высочайшего повеления о скорейшем возвращении войсковых частей, а в первую голову посылал запасных, чем ставил нас в крайне трудное положение.

Исходя из принципа, что безответственных должностей нет и что именно к старшим чинам должны предъявляться наиболее строгие требования, я считал, что и Линевиц подлежит ответственности за бездействие власти, имевшее весьма важные последствия: подрыв порядка и дисциплины в армии и даже революционизирование части ее, полная революция в тылу армии, прекращение движения по Сибирской железной дороге; сверх того, он должен был оправдаться в неисполнении высочайшего повеления. Я уже готов был верить, что он действовал без заднего умысла, по прирожденной глупости или по старческому слабоумию¹⁴; предание его суду было нежелательно, так как оно создало бы всемирный скандал; но я считал, что он должен быть уволен от службы, чтобы установить пример в поучение всем будущим главнокомандующим и более мелким начальникам.

При моем личном докладе 11 февраля государь согласился на увольнение Линевица от службы, тем более что по справке из Главной квартиры тот при этом лишился генерал-адъютантского мундира, а при следующем моем докладе подписал указ об его увольнении. Объявить его предполагалось через несколько дней, когда Линевиц выедет из Сибири и перевалит Урал, но вслед за тем я получил приказание: приостановить увольнение Линевица.

¹³ Рассказано мне Н. Н. Сухотиным.

¹⁴ От приехавших из армии лиц я уже получил сведения о старческой забывчивости Линевица. Впоследствии Куропаткин, для характеристики Линевица, говорил мне, что когда началось восстание во Владивостоке, то Линевиц упорно твердил, что это аграрные беспорядки, хотя для таковых там не было никакого повода.

Личный мой доклад 18 февраля был отменен (государь в этот день приобщался), а при моем докладе 21 февраля государь мне сказал, что считает несправедливым увольнять Линеви́ча, не приняв и не выслушав его. Я возразил, что самый прием Линеви́ча будет равносителен прекращению дела. Ведь это Николай Павлович мог бы принять и разнести, а затем выгнать, а ведь Вы не можете! Государь, как будто несколько сконфузился и сказал, что Николай Павлович, конечно, разнес бы Линеви́ча так, что тот валялся бы в ногах, прося прощения, — но все же ему надо принять Линеви́ча¹⁵. Тогда я просил его предварительно поручить кому-либо разобратъ дело, например, великому князю Николаю Николаевичу, но государь на этот выбор не согласился. Тогда я назвал барона Мейендорфа и Рихтера — оба были рыцари чести и состояли при особе государя. Мейендорфа он отклонил, так как он служил под начальством Линеви́ча, и согласился на Рихтера.

Я вполне был согласен, что государю следовало принять Линеви́ча, если только этим не предreshалось прекращение дела; между тем надо было ожидать, что прием будет настолько милостивым, что после него нельзя будет думать о привлечении к какой-либо ответственности. Именно во избежание такого приема я и предполагал объявить об увольнении Линеви́ча до его приезда в Петербург.

Линеви́ч приехал в день упомянутого моего доклада, 21 февраля, а на следующий день явился мне на квартиру. Он был весьма важен и самодоволен. Я его спросил, почему он не высылал войска? Он ответил, что иначе нельзя было. Я ему сказал, что он, наверное, помнит принесенную им государственную присягу, но как же с ней вяжется то, что он подавал руку мятежникам и стачечникам? Он возразил, что этого не было. Я ему сказал, что выражение фигуральное, но он ведь с ними сносился, договаривался о пропуске поездов и тому подобном. Он отрицал и это. После этого говорить уже было не о чем, и он ушел. Вероятно, Линеви́ч уже не чувствовал себя таким героем, как при входе в мой кабинет.

При моем личном докладе 28 февраля государь мне сказал, что получаютсЯ разногласия: великий князь Николай Николаевич осуждает Линеви́ча, а Рихтер одобряет его деятельность и просит его принять. Поэтому он предоставляет себе решить этот вопрос. Таким образом, я уже больше не мог касаться этого вопроса; государь, кажется, вскоре после того принял Линеви́ча.

Через месяц, 28 марта, государь сам заговорил вновь о деле Линеви́ча, и я тогда предложил дать делу вполне законный ход: предложить Частному присутствию Военного совета рассмотреть это дело на основании только что выработанного закона о Верховном военно-уголовном суде.

Государь согласился. Откуда пошло это новое веяние относительно возбуждения дела Линеви́ча, я не знаю.

В Частное присутствие были переданы все материалы по обвинению Линеви́ча, и оно стало их разбирать и допрашивать Батянова, Бильдерлинга, Меллер-Закомельского и других лиц, а затем и самого Линеви́ча. Бильдерлинг значительно смягчил то, что им было заявлено в записке, а Меллер-Закомельский сознался, что сообщал лишь слухи; само Частное присутствие желало окончить дело ничем¹⁶; Линеви́ч заявил, что письмо ко мне было им писано в минуту малодушия, что это частное письмо и о его деятельности надо судить не по этому письму, а по фактам. Разобрав представленные Линеви́чем данные, Частное присутствие не признало за Линеви́чем какой-либо вины. Дело это тянулось очень долго: с 1 мая до начала декабря, а высочайшая резолюция последовала только 23 декабря. В ход его я абсолютно не вмешивался и даже не говорил о нем с членами присутствия; сведения по делу я лишь изредка

¹⁵ Эта сцена показывает, какие истины можно было говорить государю в лицо, даже человеку к нему не близкому.

¹⁶ Об отношении Присутствия к Линеви́чу можно судить по тому, что его не нашли возможным пригласить на заседание обычным порядком, а для этого к нему лично поехал председатель Присутствия генерал Винберг. Забелин мне сообщил (8 октября), что в Присутствии возбуждался вопрос: может ли его председатель писать Линеви́чу отзыв или же он должен писать ему рапорт? Янушкевичу удалось отстоять форму отзыва.

получал от Забелина и от делопроизводителя Присутствия Янушкевича при случайных встречах с ним.

Оправдание Линевича, совершившееся без какого-либо попустительства с моей стороны, мне было даже приятно, так как облегчало развязку дела генерала Холщевникова, о котором я сейчас скажу, а также и потому, что одной неприятностью было меньше.

Личных отношений у меня с Линевичем не было никаких; первое время мы при встречах на разных торжествах избегали здороваться, но потом и это обошлось. На его пятидесятилетний юбилей (25 декабря 1906 года) я ему испросил очередную награду (Анна 1-й степени).

Я уже говорил о моем давнишнем, но малом знакомстве с генералом Холщевниковым. К началу войны он был начальником штаба Приамурского округа и, до назначения Сахарова начальником штаба армии, исполнял эту должность, а затем был назначен губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. Он был подчинен начальнику тыла армии, и мы в Петербурге не имели сведений о его деятельности. В конце 1905 года, когда сообщения с Востоком были прерваны, стали до нас доходить слухи о беспорядках в Забайкальской области и о том, что Холщевников проявил не то слабость, не то даже сочувствие революционному движению. Но слухов тогда была масса, причем неизвестно было, откуда они шли и насколько они близки к истине. На одном из первых заседаний Высшей аттестационной комиссии были рассмотрены имевшиеся на него аттестации и, на основании их, он был удостоен назначения командиром корпуса или иркутским генерал-губернатором.

По занятии Читы отрядом генерала Ренненкампа, последний, признавая Холщевникова виновным в бездействии власти, приказал его арестовать и предал суду за государственную измену и бездействие власти. Суд был назначен распоряжением начальства армии, и мы по-прежнему не имели вестей о деятельности Холщевникова, но самый факт предания его суду заставлял думать, что против него имеются серьезные обвинения.

Холщевников, чувствуя себя правым, решил обратиться к заступничеству Линевича, как своего бывшего начальника, и послал подробную телеграмму с изложением дела своей дочери, Ольге Ивановне, находившейся в Петербурге, для передачи ее Линевичу; она, однако, решила передать ее не Линевичу, уже отозванному от своей должности, а военному министру, поэтому письменно просила меня принять ее. Мне было очевидно, что она будет просить за отца, а между тем дело его было не в моих руках: оно поступило в суд, а в судебные дела я из принципа, до их решения, никогда не вмешивался, а кроме того – в суд, мне не подведомый, так что я даже не имел права влиять на ход дела. Военные суды в то время были завалены делами о военных и гражданских чинах, и мне постоянно приходилось выслушивать просьбы за них со стороны родственников, а особенно – их родственниц, просьбы подчас отчаянные, по которым мне всегда приходилось давать один и тот же стереотипный ответ: что суд должен действовать по совести, что в его действия я не имею права вмешиваться, но что когда состоится постановление суда, можно обратиться с просьбой о его смягчении на высочайшее имя, и тогда дело попадет в мои руки, а я посмотрю, что можно сделать в этом отношении¹⁷. В тех случаях, когда можно было ожидать утверждения смертного приговора на месте, мне лишь приходилось добавлять, что я попрошу командующего войсками дать ход кассационной жалобе или прошению о помиловании. Прибавлю, что я никогда не отказывал в приеме ни одному просителю, являвшемуся ко мне на квартиру, не говоря об их общих приемах в Министерстве.

Таким образом, относительно ответа, который мне придется дать госпоже Холщевниковой, не могло быть сомнения – дочь генерала и моего бывшего товарища я должен был принять поскорее, не заставляя ждать ее почти неделю до общего приема просителей по субботам, и я решил пригласить ее на квартиру. Для облегчения же разговора о том, что я до решения суда не могу вмешиваться в дело, я пригласил ее в час доклада главного военного прокурора

¹⁷ Об офицерских чинах дела, во всяком случае, поступали ко мне, когда наказание требовало высочайшего утверждения.

Павлова, во вторник, 21 февраля, в 2.30 пополудни¹⁸. Обычно я всех просителей принимал, стоя в приемной комнате, и только более почетных посетителей и таких, с которыми предстояла более продолжительная беседа, сажал в кабинете, в кресло, занимаемое всегда докладчиком¹⁹. В данном случае я попросил Павлова сесть визави меня, а когда доложили о приходе госпожи Холщевниковой (она, по-видимому, и тогда опоздала на одну-две минуты), я пошел ей навстречу и пригласил ее сесть на кресло докладчиков. Она мне передала телеграмму отца; я ей сказал, что полагалось, то есть, что дело теперь не в моих руках, я его не знаю, но что если последует обвинительный приговор, то оно ко мне поступит, и проч. Она не возражала и ни о чем больше не просила, Павлову не пришлось вмешиваться в наш разговор, и он длился всего несколько минут; после чего мы простились и я ее проводил до двери, а затем последовал доклад Павлова, который раньше всего мне удостоверил, что мой ответ был правилен, а телеграмму Холщевникова взял с собой для приобщения ее к делу.

Такова была первая моя встреча с Ольгой Ивановной Холщевниковой, через полтора года ставшей моей женой – чисто официальная, при суровом свидетеле. Она говорила мало, а я положенное говорил так же, как со многими другими несчастными, приходившими ко мне просить за участь своих родных. Может быть, я был к ней несколько внимательнее или любезнее, чем к другим посетительницам, ввиду служебного положения ее отца и моего знакомства с ним – и только. А между тем эта первая встреча предрешила нашу судьбу!

Мое впечатление от этой встречи было: очень молоденькая барышня, очень элегантная, отлично себя держит, симпатичная и, кажется, хорошенькая; я готов был завидовать Холщевникову, что у него такая дочь. Никаких дальнейших мыслей у меня не было. О втором браке я не думал вовсе как потому, что не видел способов разделаться с первым, так и потому, что считал себя уже старым для него, да и мысли все были поглощены делами. Меньше всего подобную мысль мне могла внушить О.И., так как она на меня произвела впечатление очень молоденькой, лет шестнадцати-семнадцати.

На О.И. эта встреча, как потом оказалось, произвела более сильное впечатление, и она сразу почувствовала, еще когда я пошел ей навстречу, что видит перед собою суженого, не находя меня старым для этой роли. От меня она поехала к Марии Алексеевне Александровой (хорошей знакомой по Хабаровску) и говорила ей обо мне в таком тоне, что та ей сказала, что она ведь влюблена!

После того О.И. вскоре была у меня на приеме в Министерстве, чтобы передать мне какие-то бумаги отца.

В апреле месяце дело Холщевникова подходило к концу. Ничего определенного о том, что в действительности происходило в Чите, мы не знали; из присланных им объяснений я лишь знал, что у него войск не было и что о присылке их он тщетно просил начальство армии. Великий князь Николай Николаевич от кого-то получил неблагоприятные для Холщевникова вести и на каком-то заседании Высшей аттестационной комиссии (в марте?) сказал, что его надо расстрелять! Я на это ответил, что дела еще не знаю, что, может быть, так и следует поступить, но что расстрелять его тогда надо под той осиной, на которой предварительно будет повешен Линевиц! С этим согласился великий князь, и этому сочувствовала вся Комиссия, так как Линевиц действительно должен был первый отвечать за беспорядки в армии и в ее тылу, на то и была в его руках вся полнота власти и сила оружия! Установление этой связи между участью Линевица и Холщевникова было крайне выгодно для последнего, так как главный виновник, Линевиц, не мог понести серьезного наказания.

¹⁸ Напомню, что в этот же день Линевиц приехал в Петербург, а я утром этого же дня уговорил государя поручить рассмотрение его дела генерал-адъютанту Рихтеру.

¹⁹ Лишь в виде очень редкого исключения я принимал не у письменного стола, сажая посетителя на диван и садясь на стул около него. Это делалось для послов, Воронцова-Дашкова и для старика Суворина, посетившего меня после своего юбилея.

В субботу, 29 апреля, О.И. вновь была у меня в Министерстве на общем приеме, чтобы передать мне какую-то телеграмму (или бумаги?), полученную от отца. Народу на приеме была масса; я ее заметил и узнал за несколько человек просителей (она потом говорила, что у меня при этом заблестели глаза). Подойдя к ней, я взял телеграмму и, желая с нею поговорить, что было неудобно при массе еще ожидавших, спросил, угодно ли ей обождать до конца приема, чтобы переговорить? Она согласилась. Обходя дальше, я увидел м-м Гримм с младшей дочерью Чикой (Александрой), которым предложил то же.

Прием окончился, я ушел в кабинет, куда была приглашена О.И. Разговор происходил стоя, у письменного стола; я просил ее не беспокоиться за участь отца, так как поставил ее в связь с участью Линевича, и рассказал о суждениях, бывших в комиссии. Она расплакалась (впервые), и я, чтобы ее утешить, сказал ей что-то вроде: «Милая барышня, Вы успокойтесь», и положил свою руку на ее, лежавшую на столе или на спинке стула, как вдруг она, нагнувшись, поцеловала мне руку! Конфуз получился взаимный. Я понимал, что она была измучена делом отца и ее тронуло участливое отношение к его судьбе, но был тронут и поражен ее поступком. Я еще сказал несколько слов успокоения, и она ушла, а тотчас вслед за тем вошла м-м Гримм с дочерью просить, чтобы я устроил перевод жениха последней, штабс-ротмистра л. – гв. Драгунского полка Кюгельгена, в армейскую кавалерию, чтобы он мог жениться²⁰. Вслед за тем я помчался домой, где выслушивал доклады Сперанского и Поливанова, и только после того мог подумать о происшедшем. Для меня было ясно лишь одно, – что О.И. глубоко несчастна, и я должен сделать все, что возможно, в пользу ее отца!

На следующий день я получил от нее письмо, в котором она мне писала, что ей очень совестно за происшедшее; я ответил, что вполне понимаю ее настроение и ценю ее любовь к отцу. Еще раз, 20 мая, О.И. была у меня на общем приеме просителей в Министерстве, причем разговор был вполне официальный.

Тем временем состоялся суд в Чите, и приговором Холщевников был присужден за бездействие власти к заключению в крепость на год и четыре месяца. В должности он не мог оставаться, поэтому я всеподданейшим докладом испросил его зачисления по Военному министерству, впредь до решения его судьбы в связи с решением по делу Линевича.

О перипетиях дела мы с О.И. обменялись несколькими письмами, исключительно делового характера. Мои письма были особенно сдержаны по многим причинам: я не знал, у кого живет О.И., не читаются ли мои письма другими; я все еще считал ее чуть ли не девочкой; наконец, я себе говорил, что не следует преувеличивать значение некоторых выражений в письмах О.И., которые могли быть приписаны и более теплomu чувству, а между тем, наверное, отражали лишь ее благодарность за мое участие к судьбе ее отца!

По делу Холщевникова мне как-то говорил министр народного просвещения Кауфман. Весной мне пришлось зайти к нему (он жил недалеко от меня, у церкви Святых Космы и Дамиана) переговорить о делах Военно-медицинской академии, и я воспользовался случаем поговорить о семье Холщевниковых. Он с нею познакомился в Чите, где был главноуполномоченным Красного Креста. Он мне сказал, что сам Иван Васильевич человек хороший, но очень важный; что ему очень много помогала жена его, чудный человек, урожденная графиня Симонич; про О.И. он говорил, что она очень милая барышня, художница, занимающаяся живописью и скульптурой. На мое замечание, что ведь ей всего лет семнадцать, он возразил, что ей лет двадцать пять, что у нее уже был жених, негодяй, который отказался от нее, когда с ее отцом стряслась беда; она от огорчения даже заболела, хотя ведь это было счастье, большее чем выигрыш в двести тысяч, что брак ее с таким негодяем не состоялся!²¹

²⁰ При содействии Каульбарса его удалось перевести на должность эскадронного командира в Крымском татарском полку, формировавшемся тогда из прежнего дивизиона. Во всяком другом полку он «сел бы на шею» многим офицерам.

²¹ В этих сведениях правда была переплетена с фантазией; но это я узнал лишь много позже, а тогда считал их верными.

Затем о деле Холщевникова мне как-то говорил генерал Аничков (помощник гофмаршала), но от него я ничего интересного узнать не мог. Больше я не знал никого, кто мог бы сообщить мне какие-нибудь сведения об О.И., да и расспрашивать мне приходилось очень осторожно во избежание всяких сплетен.

В начале июня я получил от О.И. деловое письмо, в котором она в заключение писала, что была бы рада меня видеть; я ее пригласил к себе на Кирочную 5 июня в двенадцать часов дня. Чтобы мотивировать мой приезд в этот день из Царского в город, я в час дня назначил посещение Главного инженерного управления и осмотр чертежей крепостных работ, произведенных в 1905 году.

И это, пятое, наше свидание длилось всего несколько минут. После разговора об отце О.И. я попробовал заговорить о ней самой, но из этого ничего не вышло. Я спросил, у кого она здесь живет, — оказалось у тетки, Раунер. Занимается ли живописью? Удивилась, откуда я знаю, я сказал, что от Кауфмана. Спросил, собирается ли ехать в Читу? Ответила отрицательно, но желала бы, чтобы отец приехал в Петербург, и я почувствовал по тону, что больше расспрашивать нельзя, так как вопросы эти признаются неуместными²². Я упоминал уже, что в ее письмах были выражения, которые могли быть приписаны более теплому чувству (институтскому обожанию); два таких письма я ей вернул, сказав ей наставительно, что она не имеет права писать мне такие письма, добавив, что если бы у меня был сын, то я ему сказал бы: лови счастье! Она их молча разорвала и бросила в корзину. Я через столик поцеловал ее руку, и она ушла.

Ключки писем я, конечно, собрал, и они у меня хранятся. Я считал долгом их отдать, так как со временем, придя в возраст и выйдя замуж, она могла бы пожалеть о том, что писала их и что они остались в моих руках, а мне хотелось, чтобы она вспоминала обо мне с таким же светлым чувством, как я буду вспоминать о ней! С ее уходом у меня, однако, явилось опасение, что я мог ее обидеть, и сожаление о прекращении нашего краткого знакомства. Я при первом случае написал ей письмо относительно ее отца, добавив, что я всегда готов к ее услугам и рад ее видеть, — но ответа не получил. Сочтя это за ясное указание на то, что мне больше не желают писать, я потом, о вызове ее отца в Петербург, сообщил уже в самой сухой форме. Оказалось, что первое мое письмо не дошло, вероятно, вследствие отъезда О.И. в Черняковицы на дачу своей тетки, а сухость моего последнего письма она поняла как указание с моей стороны на желательность прекращения всякой переписки. Неисправность почты ввела, таким образом, нас обоих в заблуждение!

Мысль об этом знакомстве все же не оставляла меня. Самым важным для меня вопросом был — сколько же лет О.И.? Если она действительно так юна, как мне кажется, то с моей стороны было бы непростительно глупо думать о ней иначе как по-отцовски и с ее стороны ожидать серьезного чувства! Наконец меня осенила счастливая мысль: я из Главного управления казачьих войск потребовал послужной список генерала Холщевникова; в нем в надлежащем месте значилась дочь Ольга, родившаяся 17 июня 1877 года. Ей, значит, было двадцать девять лет, она уже не ребенок, а вполне взрослый человек, способный разобраться в своих чувствах! Оставалось жалеть, что я этого не знал раньше и в этом отношении не доверился Кауфману. А в это время всякие отношения были прерваны.

Невольно является вопрос, как я мог в такой мере ошибиться в возрасте О.И.? Я это объясняю себе тем, что не видел ее иначе, как под вуалью, и своею близорукостью, затем чрезвычайной тщедушностью ее фигуры, но главное — чрезвычайной женственностью и мягкостью, обыкновенно свойственной лишь девочкам. Наряду с этим меня, правда, поражали умение держать себя и «носить туалет» (весь черный), но это я приписывал хорошему домашнему воспитанию.

²² Впоследствии выяснилось, что О.И. в этом вопросе почудилось, будто ее отцу грозит еще какая-то опасность, ввиду чего я ее и спрашиваю, не поедет ли она к нему? Этот страх и заставил ее замкнуться и дать мне невольно обескураживающий ответ.

Ввиду заявления О.И., что с ее отцом в Чите обращаются плохо, я воспользовался его зачислением по Военному министерству и поручил Забелину телеграфировать в Читу, чтобы ему предоставили выехать к новому месту служения, в Петербург. На это ответа не последовало и тогда я телеграфировал о том лично.

До этого я мало знал обстоятельства читинского дела и личное положение И. В. Холщевникова. У меня мелькнула мысль, что тот может, выехав из Читы, воспользоваться случаем, чтобы скрыться, но для О.И. решился идти на этот риск²³; я именно думал, что за ним действительно могут быть серьезные провинности, и затем полагал, что он обладает хорошими средствами, судя по туалету О.И. Как то, так и другое предположения оказались ложными, и он в конце июня выехал в Петербург.

В среду, 21 июня, я утром был на церковном параде кирасир Его Величества в Петергофе, вечером на заседании Совета обороны в Красном Селе, а у себя в Царском был только от трех до восьми часов дня. В это время из города по телефону сообщили, что мне на Кирочную прислан букет цветов неизвестно от кого. Я попросил фельдъегеря, который вечером должен был привезти мне бумаги, привезти и букет. Вернувшись в двенадцатом часу ночи в Царское, я застал у себя букет чудных роз и недоумевал, от кого он может быть? Впоследствии я узнал, что мне его прислала О.И. по случаю выезда отца из Читы, но тогда мне это не приходило в голову, ввиду того что мои письма оставлялись без ответа.

Наконец, 4 июля И. В. Холщевников явился ко мне; на городской квартире мы с ним беседовали полтора часа, возобновили знакомство, и он мог мне рассказать обстоятельства своего дела. Им столько было пережито тяжелого и он столько натерпелся сначала от революционеров, а затем от Ренненкампа, что не только теперь, по приезде в Петербург, но еще в течение нескольких лет только думал и говорил о том, что происходило в Чите. Я несколько раз пробовал заговорить об О.И., говорил ему, что она была его усердным адвокатом, что она убежденно говорила: «Если папа сделал то-то, значит, иначе и нельзя было», но он выслушивал рассеянно, а затем с новыми силами брался за свой рассказ! Я только на прямо поставленный вопрос узнал, что она здорова, и больше ничего; расспрашивать о чем-либо ином, относящемся до нее, мне было трудно, так как такое любопытство могло быть признано неуместным, да и сама О.И., не отвечая на мои письма, лишала меня права проявлять к ней больший интерес, чем предписываемый простой вежливостью; не выходя из ее пределов, я все же просил передать ей мой поклон. Вскоре после того, 24 июля, он приезжал ко мне в Царское, и тут повторилась та же история²⁴. Не только всякие сношения с О.И. были прерваны, но я и не имел о ней никаких сведений и ни от кого не мог получить. Становилось очевидным, что если у нее и было ко мне более теплое чувство, то оно прошло, и она может быть уже сама смеется над ним? Я не имел права претендовать ни на это, ни на то, что она мне больше не пишет, так как сам вернул ей ее письма. По правде говоря, я и не имел основания добиваться продолжения едва начавшегося знакомства. С О.И. я, собственно говоря, ведь еще и не был знаком вовсе, так как наши разговоры были все кратки, по несколько минут, на деловые темы, а попытка заговорить о чем-либо ином оказалась неудачной и у меня было только впечатление о ее личности; я даже не знал, что она блондинка, а считал, что волосы ее цвета шатен. Затем, с какой же целью мне добиваться знакомства? О женитьбе я мог мечтать, но для того, чтобы жениться, мне надо было развестись, а я знал: жена не захочет вернуть мне свободу; во всяком случае, чтобы думать о браке с О.И., я должен был хоть сколько-нибудь узнать ее, а для этого не было никаких способов; всякая прямая попытка завести знакомство с барышней, на которой я не мог жениться, только ради знакомства могла быть истолкована весьма предосудительно, и раньше

²³ Тем более что главный виновник, Линевиц, гулял на свободе.

²⁴ Впоследствии выяснилось, что О.И. долго расспрашивала отца про бывшие у него со мной разговоры. Он о них рассказывал долго и подробно и только после повторных вопросов, что же я еще говорил, вспомнил, что я говорил о ней, и просил передать поклон.

всего этому должен был воспротивиться ее отец. Поэтому приходилось считать знакомство конченным и про него забыть, а между тем оно не забывалось и не хотелось верить, что весь «инцидент исчерпан»; бережно хранившиеся клочки писем говорили мне иное.

Вскоре по возвращении И. В. Холщевникова в Петербург, я узнал от Забелина, что он нуждается в средствах. Состоящим по Министерству²⁵ содержания не полагалось; я об этом не подумал, да, кроме того, полагал, что дела Линевица и его разрешатся скоро, наконец, я полагал, что И.В. обладает собственными средствами. Представлять новый доклад об испрошении ему содержания было неудобно – я не должен был выказывать какое-либо пристрастие в его пользу, так как иначе могли пойти разговоры! На первых порах я ему помог пособием (помнится, в восемьсот рублей); но дело Линевица тянулось бесконечно и, в конце концов ему все же пришлось испросить какое-то маленькое содержание.

В изложении моих отношений с О.И. и ее отцом я значительно забежал вперед. Возвращаясь теперь к переживаниям и событиям начала 1906 года.

Мне удалось провести в Государственном Совете 8 апреля временный закон о пенсиях по военному ведомству, которому я придавал огромное значение в деле улучшения командного персонала армии.

Я уже упоминал, что разработку нового закона я поручил генералу Соловьеву. Наш пенсионный устав предусматривал только два оклада пенсий из казны: полный, за тридцать пять лет службы, и половинный, за двадцать пять лет службы²⁶. В дополнение к этим пенсиям выдавались эмеритальные пенсии, вообще превышавшие казенные в полтора раза; эмеритальные пенсии выдавались: полная, за тридцать пять лет службы при тридцати пяти годах участия в эмеритуре, и половинная, при двадцати пяти годах службы и участия. Для исчисления срока службы принималось в расчет и время бытности в военных училищах, а участие в эмеритуре начиналось лишь со дня производства в офицеры, так что для получения полных и половинных окладов эмеритальных пенсий требовалось тридцать пять и двадцать пять лет офицерской службы и не менее тридцати семи и двадцати семи лет общей службы. Вообще же, можно сказать, что до двадцати пяти лет службы никакой пенсии не полагалось, затем давалась половинная и еще через десять-двенадцать лет назначалась полная. Что казна не давала пенсий (кроме случаев ранений и болезни) раньше прослужения двадцати пяти лет, представляло неудобство, но с ним приходилось мириться, так как нельзя было возлагать на казну расход по выдаче пенсий лицам, еще вполне трудоспособным.

Но существование лишь двух окладов пенсий, половинного и полного, приводило к тому, что не только сами военнослужащие оставляли службу преимущественно по выслуге установленных для их получения сроков, но и их начальство считалось с этими сроками и оставляло на службе лиц, уже совершенно для нее не годных, чтобы дать им возможность получить вместо половинной полную пенсию.

Сами пенсионные оклады, даже в полном размере, были совершенно недостаточны для существования отставных, особенно семейных. При том пенсии давались исключительно по чинам, тогда как содержание на службе уже давно стало зависеть, главным образом, от должности, поэтому между содержанием и пенсией не было никакого соответствия, и в то время, как для большинства пенсии составляли лишь дробь содержания, другие при выходе в отставку

²⁵ Доклад об отчислении И.В. от должности и по Министерству был составлен в мало компетентном учреждении – в Главном военно-судном управлении. С одной стороны, не испросили содержания, а с другой – сохранили И.В. мундир Забайкальского казачьего войска, что являлось своего рода наградой, притом довольно редкой. Я тоже проморгал и то и другое, интересуясь лишь сутью доклада.

²⁶ Я не говорю об увольняемых за ранами и по болезням. Вообще все изложенное ниже по вопросу о пенсиях точно лишь в отношении главной массы пенсионеров. Все законодательство о пенсиях из казны и из эмеритуры до того сложно и путано, что в нем свободно и безошибочно разбирались лишь специалисты этого дела.

ничего не теряли²⁷. Недостатки пенсионного устава уже давно стали вопиющими, и жизнь нашла из них выход в виде испрошения усиленных пенсий, которые по многим гражданским ведомствам уже стали общим правилом, тогда как законные пенсии были исключением. Только по военному и некоторым другим ведомствам усиленные пенсии были сравнительно редки ввиду существования в них своих эмеритальных касс, выдававших дополнительные пенсии.

Несмотря на ненормальность положения всего пенсионного дела, оно оставалось неизменно в том же виде потому, что пенсионное законодательство относилось к ведению Министерства финансов, которое не желало его менять во избежание новых расходов и еще по одной причине, о которой оно, конечно, не говорило: назначение усиленных пенсий зависело от согласия министра финансов, которого все остальные министры должны были постоянно просить за своих подчиненных, а это увеличивало влияние и возвышало положение министра финансов.

Добиться улучшения командного состава армии можно было лишь улучшением пенсий. Только в том случае, если переход с содержания на пенсию не является полным бедствием для пенсионера, можно рассчитывать как на добровольный уход устаревших и уставших, так и на то, что начальство будет относиться к подчиненным с надлежащей требовательностью и не будет удерживать на службе лиц, для нее уже непригодных. Это было создано уже при введении предельного возраста, когда для увольняемых были введены усиленные пенсии в размере восьмидесяти процентов содержания.

Применение закона о предельном возрасте указало вновь на неудобство существования больших скачков в размере пенсий: люди, даже совсем устаревшие, не покидали службы до получения усиленной пенсии, да и начальство не решалось принимать какие-либо меры к их уходу. Считалось вполне естественным, что человек, уже ни к чему не годный, должен оставаться еще год, два на службе для получения надлежащего обеспечения на свою старость. При этом уверенность, что в такой-то срок непременно уволят, а до этого срока оставят служить, окончательно подрывала энергию этих лиц и делала их бесполезными и даже вредными задолго до их увольнения. Поэтому нужно было устранить упомянутые скачки в размере пенсий и установить столь постепенное нарастание пенсий, чтобы уход со службы годом раньше или позже не составлял существенной разницы. Именно на таких основаниях построен пенсионный закон в Германии. Общие основания его мне были давно известны, но я вообще не интересовался пенсионным делом, пока мне в 1893 году не пришлось разбирать диссертацию Соловьева по этому вопросу. Общая схема германского законодательства сохранилась у меня в памяти, и я предложил Соловьеву применительно к ней разработать проект закона о пенсиях по военному ведомству. По совещании с ним, в основу нового закона были приняты следующие положения: полная пенсия составляет восемьдесят процентов содержания и дается за тридцать пять лет службы; половинная дается за двадцать пять лет службы; за промежуточные сроки пенсия ежегодно увеличивается на четыре процента содержания; в общий оклад пенсии входит и причитающаяся эмеритура.

По изложенным выше причинам, всякое изменение пенсионного законодательства было крайне неприятно для Министерства финансов, а потому нечего было и думать о получении от него средств на новые пенсионные расходы и их приходилось принять на предельный бюджет²⁸; срок же действия его был ограничен 1908 годом, а потому и наш новый закон должен был иметь характер временный, до того же срока. Затем, для уменьшения расходов и облегчения прохождения закона, пришлось установить, что новые пенсии даются только самим пенсионерам, а семейства их получают пенсии по существующим правилам.

²⁷ Первоначально при установлении пенсий все денежное содержание заключалось в жалованье и полная пенсия равнялась жалованью.

²⁸ Как на источник для производства этого расхода (до восьмисот тысяч в год), я указал на сокращение расходов по содержанию Военного совета и Комитета о раненых.

Срочное действие нового закона и то, что он не распространялся на семьи пенсионеров, являлись большим его недостатком, но в ином виде невозможно было добиться его принятия. Назначение пенсий усложнялось тем, что общий оклад приходилось разбивать на три части, назначая законные пенсии из казны и из эмеритуры и добавляя недостающую сумму из предельного бюджета, — но и на это приходилось идти, лишь бы достигнуть главной цели. В заседании соединенных департаментов Государственного Совета я откровенно заявил, что командный состав, особенно на верхах, у нас ниже критики и что освежение его действительно необходимо, а для этого нужен новый пенсионный закон, хотя бы временный, в виде опыта. Высказывалось опасение за массовый уход старших чинов, а генерал-адъютант Ф. Ф. Трепов верно подметил, что так как для получения пенсии по какой-либо должности не требуется выслуги в ней какого-либо срока, то могут пойти частые смены начальствующих лиц²⁹. На это мне пришлось ответить, что чем больше уйдет старших чинов, тем лучше; от этого могут быть и, вероятно, будут неудобства, но только временные, а зато скорее будет достигнута главная цель — освобождение армии от начальников, которые могут повести лишь к новому поражению. Соединенные департаменты вняли моим доводам и приняли закон, испортив его лишь в одном отношении — он должен был применяться только к строевым чинам. Эта, по-видимому, невинная оговорка на деле оказалась крайне неудобной, так как, например, начальники штабов, начальники артиллерии в округах и тому подобные чины, не занимавшие чисто командных должностей, оказались вне действия закона³⁰.

Тем не менее для строевых чинов закон вступил в силу и большое число старших начальников оставило службу. Массового ухода все же не было, но действительно, многие начальники принимали высшие должности лишь на короткий срок, для получения больших пенсий, от чего получилась частая смена начальствующих лиц со всеми происходящими от этого неудобствами. Однако скоро и эти смены стали менее частыми; армия же хоть этим путем избавилась от лиц, от которых нельзя было ее избавить иначе, за неимением еще нового закона об аттестациях.

В течение первых месяцев года через Одессу вернулось около ста тысяч запасных нижних чинов, вывезенных с Востока морем. Ничего хорошего мы от них не ожидали, и я ввиду слабости гарнизона Одессы хлопотал об усилении его двумя пластунскими батальонами, но и это мне не удалось. Однако Каульбарс справился с делом очень хорошо. В Порт-Саид были посланы офицеры, которые там встречали подходявшие транспорты и сопровождали их до Константинополя; в пути они составляли списки запасных, выясняли, кого куда направлять, и сообразно этому разбивали их на партии. По прибытии в Константинополь они сообщали нужные сведения по телеграфу в Одессу, а сами возвращались в Порт-Саид встречать следующий транспорт. В Одессе Каульбарс встречал их сам в порту, почетный караул отдавал честь, музыка играла гимн, затем, тотчас после высадки, эшелон вели к обеду, за которым Каульбарс говорил речи, а после обеда туда же, в порт, подавались поезда, в которых запасные уезжали домой. Все проходило чрезвычайно гладко и даже с энтузиазмом; почетный караул имел при себе боевые патроны, но никакой силы употреблять не приходилось.

В марте я получил приказание государя сообразить, по соглашению с морским министром, вопрос о сокращении сроков службы и заготовить рескрипт на мое имя с указанием главных оснований реформы. Приказание это, очевидно, было вызвано тем, что в пользу сокращения сроков службы высказались органы почти всех партий, оно пользовалось сочувствием

²⁹ Трудно было угадать, сколько окажется желающих оставить службу после установления новых пенсий, казавшихся громадными по сравнению с прежними. Я сам предвидел возможность массового ухода и доложил об этом государю, сказав, что в таком случае можно было бы, временно, вовсе не замещать должностей бригадных командиров.

³⁰ Определение, на кого распространяется закон, было предоставлено военному министру по соглашению с министром финансов и государственным контролером, а последние двое всемерно стремились сузить применение нового закона.

общества и несомненно было бы потребовано Государственной Думой. Поэтому было благо-разумно осуществить реформу заблаговременно, по инициативе государя.

Сроки службы в армии было решено сократить на один год, то есть до трех и четырех лет, а во флоте – на два года, то есть до пяти лет. Сверх того, разделить запас на два разряда для более правильного распределения при мобилизации.

На заседании соединенных департаментов, 8 апреля, вопрос этот прошел гладко, причем, однако, произошел неприятный инцидент: Главный штаб, внося представление, ни словом не обмолвился о предстоящем увеличении расходов по Министерству внутренних дел и военному, и разрешение их пришлось испросить уже на словах в самом заседании!

Проведение в жизнь этого закона представляло крупные затруднения. Как я уже упоминал, сокращение сроков службы я считал настолько нужным, что на первом же своем личном докладе говорил о нем государю. Только сократив срок службы, мы могли омолодить свой запас и избежать необходимости ставить в ряды стариков, но самую реформу было желательно произвести лишь после надлежащей подготовки, в смысле обеспечения войск сверхсрочными учителями, и в нормальное время, когда войска были в сборе в своих квартирах и не отвлекались всевозможными нарядами от своего прямого дела. Политические соображения заставили ускорить решение вопроса и проводить сокращение сроков службы в армии без всякой к тому подготовки и при самых неблагоприятных условиях ее службы, когда она должна была нести тяжелую службу по поддержанию порядка в стране! Армия, только что пережившая тяжелый внутренний кризис, страдающая от недостатка офицеров, должна была лишиться еще и старшего срока службы, в том числе всех унтер-офицеров, остаться почти без учителей и это в то время, когда самое обучение ее было затруднено!

Чтобы сколько-нибудь облегчить этот кризис, было решено сократить сроки службы постепенно, увольняя ежегодно четыре третьих возрастных классов (в кавалерии – пять четвертых), причем выбор увольняемых людей младшего возраста производился по жребию. Упомяну здесь же, что еще осенью 1906 года настроение в армии было таково, что явилось опасение, что нижние чины могут не подчиниться жребию, по которому тогда надо было уволить треть возраста, а остальные две трети задержать еще на целый год; поэтому тогда же было объявлено, что эти две трети будут уволены уже весной 1907 года, то есть что их задержат только на зимнее время, когда они в деревне не нужны, являясь там только лишними едоками.

Это сокращение сроков службы, произведенное в такое время, когда обучение войск было поставлено в самые трудные условия, когда лагерные сборы удавалось устраивать лишь в виде исключения, являлось для армии столь глубоким внутренним кризисом, что необходимо было откровенно признать: во-первых, армия на несколько лет будет необученной, малопригодной к бою, и во-вторых, опять-таки на несколько лет, нельзя менять ее организации, так как всякая перемена в последней, нарушая существующие соединения, могла бы окончательно дезорганизовать войска, обратить их в толпу не только необученную, но и лишенную внутренней спайки, вроде нашего флота. Таким образом, эта мера налагала определенный отпечаток на деятельность Военного министерства в ближайшие годы: для лучшего обучения войск я считал организационные изменения крайне необходимыми, а теперь их приходилось откладывать; я мечтал о скорейшем приведении армии не только в порядок, но и в боеспособный вид, а теперь приходилось отказаться от всякой надежды на скорое восстановление самого фундамента ее прочности – основательного воспитания и обучения нижних чинов.

Во флоте сокращение срока службы было произведено проще: сразу уволили два лишних срока службы. Если бы флот имел какое-либо боевое значение, то можно было бы говорить о полном расстройстве его состава и нарушении его обучения. Теперь же это являлось лишь мерой, крайне полезной для сокращения состава бунтующих вооруженных команд.

На том же заседании соединенных департаментов, 8 апреля, пришлось исправлять еще одну ошибку Главного штаба: законопроект о пенсиях вдовам нижних чинов был разработан в

комиссии при участии представителя лишь от Главного штаба, который согласился с предложением других ведомств, чтобы пенсии вдовам казаков выплачивались не казной, а из казачьих капиталов; такое решение было не только несправедливо, но и неисполнимо, так как казачьи капиталы и без того были расстроены. Дело уже было внесено в таком виде в Государственный Совет, когда о нем, случайно, узнал Щербов-Нефедович, который меня предупредил, и мне удалось убедить департаменты дать казачкам право пенсии из казны.

Эти два промаха Главного штаба наглядно указывали на неосновательность работы этого столь громоздкого учреждения, что и Поливанов еще не успел с ним совладать.

Масса всякой работы меня все более одолевала; по вечерам еще стала собираться вновь учрежденная Высшая аттестационная комиссия, и мне пришлось все более манкировать в Совете министров. 24 января я доложил об этом государю, пояснив, что мое присутствие в Совете бесполезно, так как я гражданских дел не знаю и мне совсем некогда бывать в Совете. Только в очень важных случаях, особыми приглашениями, привлекали и меня в заседания Совета. Так, в воскресенье, 12 февраля, Витте вызвал меня на экстренное заседание в третьем часу дня; оказалось, что государь предполагал вместо двух увольняемых министров, Кутлера и Тимирязева, назначить Кривошеина и Рухлова, а Витте хотел в таком случае подать в отставку, так как сидеть в одном кабинете с этими двумя лицами для него невозможно. После двухчасовой болтовни решили, что Витте, не угрожая отставкой, лишь попросит не сажать в кабинет неподходящих лиц. Просьба эта была уважена.

В течение первых трех месяцев 1906 года я выезжал в Царское к государю 30 раз: в том числе 22 раза с докладами³¹. В Совете министров я был 13 раз, в Государственном Совете – 9, в Совете обороны – 7³², в Высшей аттестационной комиссии – 9 раз и в совещаниях у великого князя Николая Николаевича о дислокации войск – 2 раза. Таким образом, на первые три месяца пришлось 30 поездок и 40 заседаний, или 70 отвлечений от прямого моего дела³³.

Было очевидно, что долго нести такой труд невозможно, я только изведусь без пользы и все же буду манкировать то здесь, то там; предстояло еще открытие заседаний Государственной Думы, в которых ведь тоже придется бывать, а тогда уж совсем нельзя будет справляться с делом! Я поэтому решил просить об учреждении должности моего помощника.

У всех министров были товарищи, причем в больших министерствах было по несколько таких должностей. В Военном министерстве такая должность тоже когда-то существовала; последний, занимавший эту должность, был Д. А. Милютин; назначенный с нее министром, он ее упразднил, предоставив всем начальникам главных управлений права товарищей министров. В большинстве случаев министра замещал начальник Главного штаба, и это его отвлекало от прямого дела, с которым ему и без того не удавалось справиться. Новой должности я, однако, решил присвоить название не товарища, а по военному – помощника военного министра; прецедент уже был – у министра двора когда-то был помощник.

Я еще не успел окончательно продумать и решить про себя этот вопрос, как 4 марта государь мне сказал, что предполагает выделить, по прусскому образцу, всю инспекторскую часть из ведения военного министра. Я ответил, что возражений лично не имею. Учреждение Высшей аттестационной комиссии, состоявшееся по моей инициативе, наглядно свидетельствует, что я отнюдь не дорожу полномочиями по заведованию личным составом, а наоборот, уже поступился частью их для пользы дела. На этом разговор закончился. Государь, очевидно, опа-

³¹ Доклады были отменены лишь три раза: 18 февраля, когда государь приобщался, 11 марта (похороны принца К. П. Ольденбургского) и 25 марта (Благовещение). Затем я был в Царском на выходах 1 и 6 января, на панихиде по королю Христиану IX Датскому (5 февраля), на производстве юнкеров в офицеры (24 марта), на праздниках л. – гв. Гусарского и Конного полков (19 и 25 марта) и на двух заседаниях у государя по вопросам об устройстве Государственного Совета и Государственной Думы.

³² Насколько помню, они были посвящены вопросам об усилении обороны азиатских округов.

³³ Сверх того, я был на одиннадцати заседаниях Военного совета.

сался оставить заведование личным составом (и всеми назначениями) в руках военного министра, который должен будет являться в Думу и которым со временем может оказаться лицо, принадлежащее к той или иной политической партии, поэтому он думал взять инспекторскую часть в личное свое ведение; мысль эта у него была давнишней, так как еще до выделения Генерального штаба была мысль о выделении всего бывшего Главного штаба из Военного министерства.

Если бы мысль государя была осуществлена, то этим кабинетная работа военного министра была бы несколько сокращена, но число разъездов и заседаний не уменьшилось бы, а потому я все-таки решил просить себе помощника, и через десять дней, во вторник 14 марта, обратился к государю с просьбой об учреждении такой должности. К моему удивлению, он не дал мне тотчас своего согласия, а ответил, что давно сам об этом думал и даст мне свой ответ в субботу. Ответ этот меня несколько озадачил: вопрос об учреждении новой должности помощника министра не является столь важным, чтобы государю стоило о нем думать, а тем более думать давно; вопрос был вместе с тем столь прост, что мог бы быть разрешен немедленно, не дожидаясь субботы. Очевидно, у государя были какие-то особые соображения, стоявшие, вероятно, в связи с выделением инспекторской части³⁴. Я решил ждать и пока не настаивать на решении, предоставляя государю всесторонне обсудить его.

Через неделю, 21 марта, ко мне заехал Гулевич по поручению великого князя Николая Николаевича сообщить, что великий князь против выделения инспекторской части, так как не видит к этому основания, а между тем мера эта внесла бы ломку во всю организацию Министерства. Я, кстати, рассказал Гулевичу, что мне нужен помощник, потому что работа до того тяжела, что я был бы рад уйти с должности, но государь усомнился в моем ходатайстве и до сих пор мне ответа не дает. На следующий день Гулевич вновь был у меня и сообщил, что великий князь сочувствует назначению мне помощника и готов мне помочь в этом отношении, а также, что великий князь не хочет слышать о моем уходе.

Прождав еще три недели, я 11 апреля вновь спросил государя и получил его согласие на учреждение должности помощника и на назначение на нее Поливанова, при этом государь сказал, что несколько лет тому назад он рекомендовал бы на эту должность Газенкампа; я ответил, что Газенкампф человек нежелательный, так как он не «искренний».

Все дело об учреждении должности помощника я держал в секрете и говорил о нем только с Поливановым, а затем с Гулевичем. Теперь, имея согласие государя, я сам составил представление в Военный совет и краткое положение о новой должности, которые в среду передал Забелину с тем, чтобы дело в четверг было доложено Военному совету и чтобы журнал был подписан на том же заседании. На производство нового расхода нужно было согласие министра финансов (Шипова) и государственного контролера (Философова). С обоими я переговорил лично и на мой официальный запрос в четверг же получил их согласие. В четверг же журнал Военного совета был представлен государю вместе с докладом о назначении Поливанова, в пятницу они были утверждены, а в субботу «Инвалид» уже опубликовал новое назначение. Таким образом, вся сложная процедура учреждения и замещения должности была выполнена в несколько дней. Все это дело я сначала держал в секрете, а затем вел с возможной поспешностью, чтобы избежать разговоров и ходатайств.

При разговоре с великим князем Николаем Николаевичем я ему объяснил выбор Поливанова тем, что я сам мало сведущ в делах Главного штаба, особенно в тех, которые сопрягаются с деятельностью Генерального штаба, и что именно этот дефект должен восполнять Поливанов. Великий князь посмотрел на меня как-то недоумевающе — действительно: то, чего я добивался от Поливанова, мне ведь должен был давать Палицын, и в приведенных мною

³⁴ Я заподозрил, что государь желает уволить меня с должности министра, либо чтобы вовсе устранить меня, либо для поручения мне инспекторской части, непосредственно ему подчиненной.

мотивах для выбора Поливанова сквозили неудовлетворенность работой Палицына или недоверие к ней.

Между Поливановым и Палицыным, кажется, уже раньше существовала антипатия, которая, по неизвестным мне причинам, вскоре дошла до того, что они просто не выносили друг друга. Вероятно, влиянию Палицына надо приписать то, что и великий князь стал плохо относиться к Поливанову.

На место Поливанова нужно было выбрать нового начальника Главного штаба. Нужен был не только умный и знающий, но и твердый человек, который продолжал бы начатое Поливановым трудное дело очистки Главного штаба от неспособных и обленившихся работников и упорядочивания его работы. О выборе такого лица я советовался с Поливановым, и мы остановились на генерал-лейтенанте Алексее Ермолаевиче Эверте; я его видел всего раз, но он произвел на меня самое лучшее впечатление; Поливанов тоже знал его очень мало, но всеобщий отзыв о нем из армии был отличный. Он был временно в Петербурге, я его вызвал к себе 17 апреля и при Поливанове предложил ему должность. Эверт отказывался, говоря, что его тянет в строй, он лишь мечтает о командовании дивизией, поэтому он уже отказался от должности генерал-квартирмейстера у Палицына (которого он, как потом оказалось, не выносил); кроме того, он опасался, что окажется не на высоте нового назначения.

На это я ему сказал, что мы в таком случае «утопим щуку в реке», спустив его в строй. В конце концов, он заявил, что если я прикажу, то он примет должность, и вслед за тем был назначен.

Эверт пробыл в должности два года. Он оказался безукоризненно честным и хорошим человеком с большим здравым умом, но не выдающимся администратором; человек добрый, он Главного штаба не вычистил и не подтянул. Эверт был очень твердых убеждений, пожалуй, даже упрям, и высказывал их вполне откровенно, так что мы неоднократно жестоко спорили с ним. Я его за это очень уважал и любил, но все же было трудно работать с человеком, с которым по некоторым вопросам (особенно по организационным) я совершенно расходился во мнениях. Поэтому, когда он весной 1908 года заявил о своем желании получить корпус, я поспешил исполнить его желание.

Для посещения военно-учебных заведений у меня совсем не было времени и лишь 11 марта, когда у меня неожиданно оказалось свободным одно утро вследствие отмены личного доклада у государя, я посетил Александровский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. 17 марта я заехал к Павлову и вместе с ним был в Военно-юридической академии, в помещении суда и в Главном военно-судном управлении.

К концу марта я уже чувствовал себя совсем усталым, и у меня появился явный признак переутомления – стал пропадать сон, от чего, конечно, я стал уставать еще больше. Чтобы помочь делу, я решил переехать в Царское. При массе работы такой переезд представлялся даже несуразным, но я был убежден, что жизнь на свежем воздухе быстро мне поможет. Переезд я совершил в Страстной четверг, 30 марта, чтобы несколько свободных дней Страстной и Пасхи употребить на устройство на даче и отдых³⁵. Ни у кого я не спрашивал разрешения на отъезд, находя это не только лишним, но и неудобным для себя, так как могли бы пойти суждения о том, может ли военный министр в столь тяжелые времена жить за городом? Решив самолично, что может, я был уверен, что все примут это решение просто к «сведению», тем более что моя готовность уйти с должности была известна, – и в этом не ошибся.

В течение зимы в доме были произведены переделки: кухня и людская были перенесены в подвал; в нижнем этаже освободившиеся помещения обращены в столовую и буфетную, столовая и запасная соединены в большую гостиную, а бывшая гостиная – в служебный кабинет; в верхнем этаже две комнаты были соединены и образовали громадный, в четыре окна, част-

³⁵ Мой секретарь по-прежнему поселился на даче по ту сторону Павловского шоссе.

ный кабинет. Работы в новом саду еще не были начаты, и он только был обнесен забором; работы эти производились весной и осенью этого года и были вполне закончены лишь в 1907 году. Работы в доме обошлись в пять тысяч рублей.

Весна 1906 года была очень ранняя и необыкновенно жаркая. При моем переезде в сад было еще пол-аршина – три четверти снега, но он быстро стал сходить. Работая в одной тужурке по расчистке дорожек в саду, я немедленно вернул себе хороший сон и стал опять чувствовать себя вполне бодрым. В субботу у меня был личный доклад у государя, но я ему ничего не сказал о своем переезде, так как решил считать его домашним делом, не влияющим на службу. В первый день Пасхи при дворе большого выхода не было, но на третий день, 4 апреля, у меня вновь был личный доклад, и государь мне с удивлением сказал, что он узнал про мой переезд в Царское; я ответил очень просто, что устал и начал было страдать бессонницей, но здесь, в Царском, разгребая снег в саду, быстро вернул себе сон и вновь чувствую себя отлично. Государь тоже любил работать над расчисткой дорожек от снега и вполне понимал благотворное действие такой работы. В результате оказалось, что мой переезд в Царское был признан моим частным делом.

Жизнь в Царском чрезвычайно облегчала мне мои приезды к государю. Придворная карета приезжала за мной не на железную дорогу, а на дачу, и отвозила меня туда же обратно; каждая такая поездка для доклада требовала всего полтора-два часа вместо обычных четырех с половиной. Обыкновенно, государь переезжал в Петергоф лишь в половине июня, а потому я рассчитывал, что мне месяца два-два с половиной удастся пользоваться удобствами жизни вблизи от государя. Но совершенно неожиданно он уже в конце апреля (25-го или 26-го) переехал в Петергоф, вероятно для того, чтобы иметь возможность приехать на открытие Думы водой, а не по железной дороге, и избежать довольно опасного проезда в экипаже по улицам Петербурга. Вследствие этого я пользовался упомянутым удобством всего три с половиной недели, в течение коих я четырнадцать раз бывал у государя: восемь раз с докладами, затем, на празднике л. – гв. Гренадерского и л. – гв. Уланского полков и на четырех заседаниях, в коих обсуждался проект новой редакции основных законов. После его переезда в Петергоф, я туда по большей части ездил на моторе.

Чтобы покончить с событиями весны 1906 года, мне осталось упомянуть о некоторых новых знакомствах и встречах.

В феврале, на Масленице, я был зван к обеду на блины к герцогу Георгию Георгиевичу Мекленбург-Стрелицкому; он был женат на бывшей фрейлине его матери, Вонлярской, получившей титул графини Карловой, очень милой и симпатичной женщине, с которой мне приходилось встречаться при дворе; она была вице-председательницей Порт-Артурского комитета, по делам которого мы обменялись несколькими письмами, и наконец позвала меня к обеду. Еще были за обедом только брат герцога, Михаил, и незамужняя сестра графини.

Обед прошел очень уютно. Герцог раньше командовал л. – гв. Драгунским полком, где его очень уважали как человека очень добросовестного и прямого; но особенно в полку любили его жену, как замечательно хорошую и добрую женщину, имевшую самое благотворное влияние на своего мужа; в ее отсутствие он становился тяжел, но стоило ей приехать, и она вновь настраивала его на свой лад. В то время он командовал бригадой и жил в своем доме на Фонтанке, против Аничковского дворца, устроенном по дворцовому, а в конце 1906 года был назначен командиром бригады. Он был человек очень неглупый и образованный, но ему вредила та трудность, с которой он говорил: правильно, но медленно, отчеканивая каждое слово, точно он совершает тяжелую работу. Его поэтому считали ограниченным, а между тем он был хорошо образован, начитан и любитель музыки. В конце 1906 года, он, по представлению главнокомандующего, был отчислен от бригады и назначен состоять в его распоряжении, причем выяснилось, что герцог интересуется обозной частью. Мне это было очень на руку и я его назначил председателем комиссии по переустройству всей обозной части и в особенности – обозных

войск. Он намечался мною в инспекторы обозных войск, но умер уже в 1909 году. При его основательности и настойчивости он, наверное, принес бы обозному делу такую же пользу, как его отец – стрелковому в армии.

В марте у меня был посол далай-ламы Джорджиев, приехавший с переводчиком, воображавшим, что он умеет говорить по-русски. Я к нему пошел навстречу и хотел поздороваться, но он мне руки не дал, а стал говорить непонятный спич; переводчик постарался мне уяснить содержание, заключающееся, по видимому, в приветствии и пожеланиях, затем Джорджиев взял на обе руки длинный кусок белой шелковой материи; переводчик из-за пазухи вынул бурхан (бронзовую статуэтку Будды), Джорджиев передал ее мне вместе с платком. Только после этого мы поздоровались и через переводчика обменялись несколькими фразами³⁶. Какие переговоры Джорджиев вел в Петербурге, я не знаю, и ни о каких делах он мне не говорил.

Адъютант мой, Чебыкин, бывший адъютантом еще при Ванновском, продолжал навещать его вдову; он передал мне о ее желании познакомиться со мной, и я в понедельник 20 марта заходил к ней с визитом. Впервые я был в других комнатах, кроме кабинета в доме военного министра на Садовой.

4 января меня навел мой старый товарищ Мунк, о котором мне приходилось говорить; кажется, это было в последний раз, когда я его видел³⁷.

Мой двоюродный брат, Сергей Шульман, в начале марта зашел ко мне сказать, что он по болезни уезжает за границу, в Антиб. У него оказалась странная и по его словам мучительная болезнь – чувство раздвоения своей личности; очень вероятно, что тягость службы с Павловым растрепала ему нервы. Отдых за границей ему помог, по крайней мере он ослабил явления болезни, на которую он, однако, жаловался еще долго после того. Его мать, Мария Александровна, оказалась в трудном положении: Сергей был ее единственным наследником, так как две дочери уже получили свою долю, и она для облегчения получения сыну наследства и для уменьшения наследственных пошлин все бывшие у нее ценные бумаги перевела на его имя. Теперь явилось опасение, что Сергей будет признан ненормальным, и тогда ее невестка, падкая до денег, потребует эти бумаги; чтобы избежать этого, Мария Александровна вынула их из банка и хранила их затем у себя, на дому.

Приближалось время открытия 1-й Государственной Думы. С тревожным чувством ожидалось это событие. Вести о выборах в Думу указывали на то, что она будет резко антиправительственной, а может быть, даже революционной. При существовавшем в стране всеобщем неудовольствии это было неудивительно, но все же будущее представлялось совершенно неясным и преисполненным всяких опасностей, так как новая Дума, введенная ради успокоения страны, могла, наоборот, окончательно революционизировать ее.

Старый Государственный Совет, проработав более ста лет в качестве законосовещательного учреждения, заканчивал свою деятельность. 17 апреля я был в последнем его заседании, а вечером 25 апреля состоялся раут для всего нового состава Совета, чтобы дать старым и вновь избранным членам случай познакомиться; я знал очень мало первых, вовсе не знал вторых и на рауте пробыл час, только чтобы показаться.

Перед открытием Думы кабинет графа Витте был уволен и заменен кабинетом Горемыкина. Оригинально, что я, член обоих кабинетов, узнал об этой перемене совершенно случайным образом: в среду, 19 апреля, при докладе великий князь Сергей Михайлович сообщил мне об отставке старого кабинета; то же подтвердил мне великий князь Николай Михайлович, заехавший ко мне в тот же день по какому-то делу. Оказалось, что я не уволен и оставлен в новом кабинете; все это доказывает слабую, чисто внешнюю, связь мою с кабинетом. О том,

³⁶ Впоследствии Джорджиев еще два раза бывал у меня, в декабре 1906 года и в марте 1909 года; воспоминанием об этих посещениях служили три бурхана (скульптурные изображения Будды или других персонажей буддийского пантеона. – Ред.). При последнем своем посещении он мне поднес и куски тибетских шелковых материй.

³⁷ Перед тем он был у меня в январе 1905 года.

как и почему состоялась смена кабинета, я тогда даже и не знал. Только в марте 1909 года мне о том подробно рассказывал Коковцов. Государь предполагал только частичное преобразование кабинета с назначением Акимовым его председателем; но Акимов заявил государю, что у него нет таких способностей, чтобы занять эту должность, и прибавил, что старому кабинету за смутное время столько пришлось совершить беззаконий, что ему лучше не показываться в Думе. Государь с этим согласился и весь кабинет был смещен, за исключением, кажется, только министров: двора, Военного и Морского.

Витте немедленно переехал в свой дом (Каменноостровский, 5) и 24 апреля дал обед в честь членов своего кабинета; обед был довольно скучный; после него мне впервые пришлось беседовать с графиней Витте, очень умной женщиной. На обеде был и Палицын; после обеда у меня было до поезда еще полчаса свободного времени и я заехал к Палицыну выпить стакан чаю. Жены его я при этом не видал.

Многие из бывших членов кабинета были устроены не блестяще. Так, Шипов, бывший министром финансов, попал в члены какого-то совета своего бывшего Министерства, а министр путей сообщения Немешаев вернулся на прежнюю свою должность управляющего Юго-Западными железными дорогами.

Наконец, в четверг, 27 апреля, в Зимнем дворце состоялось открытие 1-й Государственной Думы и преобразованного Государственного Совета.

День был ужасно жаркий. Совет министров к без четверти час собрался в Эрмитаже, откуда нас затем перевели в Георгиевскую залу, где очень живописно на троне была положена императорская порфира; по сторонам трона стояли красные табуреты для императорских регалий. Против трона, по левую руку, стали члены Думы, а по правую — члены Государственного Совета. По правую же сторону, около престола, было небольшое возвышение для членов императорской фамилии, около которого стал Совет министров³⁸. Все служащие были в парадной форме, с которой контрастировали штатские костюмы, частью весьма небрежные, выборных членов новых законодательных учреждений.

В два часа государь вышел в зал. Перед ним несли регалии, которые были положены на табуреты, около которых стали лица, их несшие; за государем шла императорская фамилия. Государь очень спокойно, но с большим чувством, прочел отличную речь, отрецензированную им самим. Прокричали «ура» и государь с таким же церемониалом ушел. В половине третьего я уехал домой.

Великое событие совершилось. Перемена государственного строя России стала совершившимся фактом. При враждебном настроении Думы приходилось радоваться, что все сошло благополучно, без каких-либо неприятных инцидентов.

В тот же день, в четыре часа, в Таврическом дворце было открытие заседаний Думы, на котором присутствовал Совет министров; на следующий день, в два часа, состоялось открытие заседаний Государственного Совета, для которых был отведен зал Дворянского собрания, впредь до постройки в Мариинском дворце новой, достаточно обширной, залы.

В день рождения государя, 6 мая, в Петергофе был назначен выход, на который мне удалось попасть лишь с трудом. Мой мотор был неисправен, и я должен был ехать в Петергоф через город, с поездом в 8.11 утра, но, когда я одевался, у меня в руках сломалась оправа очков. Без очков я совсем не могу существовать, а потому смолоду всегда ношу в кармане запасную пару³⁹, но и в ней оказалось сломанным одно стекло, очевидно, футляр не оберег его от удара. Надо было найти какие-нибудь старые очки, но на даче я еще не успел разобрать все вещи и часть ключей куда-то заблудилась. Пришлось посылать за слесарем и старые очки были добыты. Чтобы попасть в Петербург, я поехал на станцию Варшавской железной дороги,

³⁸ Здесь я впервые увидел нового министра внутренних дел Столыпина.

³⁹ Уже в Турецком походе у меня всегда была при себе запасная пара очков.

на поезд 9.09, но оказалось, что он еще не ходит, и я попал лишь на поезд 10.07 Царскосельской дороги. В городе экипаж меня ждал на Варшавской станции, и я на извозчике добрался на Балтийскую железную дорогу. В Петергоф я попал к самому концу молебствия. Это было редким сочетанием мелких неудач.

За завтраком в этот день около меня сидел председатель новой Думы Муромцев. Я ему сказал, что стою вне политики и желаю лишь одного — делать свое дело; он расспрашивал о намеченных мною реформах; я ответил, что пока занялся личным составом, добился усиленных пенсий и теперь увольняю всех бесполезных; он высказал полное сочувствие. Относительно Думы он мне сказал, что ее надо занять работой, тогда партии обозначатся; по земельному вопросу — что он не будет разрешен в радикальном смысле, так как ведь есть шесть миллионов крестьян-собственников; что Дума уважает власть и надо лишь выступить с твердой программой (например, по делам Дальнего Востока).

Он, очевидно, был прав в том, что Думу надо занять работой. Витте это тоже твердил и разные законопроекты разрабатывались, но ко времени открытия Думы ничего еще не было готово; собственно по военной части ничего и не намечалось вносить в Думу, так как все внутреннее военные меры могли проводиться в порядке военного законодательства, если только расходы не выходили из рамок предельного бюджета. Контингент новобранцев на следующий призыв уже был утвержден Государственным Советом, а других вопросов, с которыми мне надо было бы идти в Думу, пока не предвиделось. Единственный общий вопрос, о передаче гражданского управления в Туркестане в ведение Министерства внутренних дел, хотя и был в принципе одобрен Советом министров, но требовал еще долгой и сложной разработки.

С открытием Думы министерствам было указано, чтобы они скорее вносили в Думу готовые законопроекты, но их было мало и помнится, что по иронии судьбы первым был внесен проект теплицы при Юрьевском университете. У Думы серьезной работы не было, да едва ли она даже была бы в состоянии заняться ею — она всецело была поглощена ненавистью ко всему существующему, желанием сокрушить его в корне. Представители правительства, появляющиеся в Думе, подвергались оскорблениям, и Дума, считая себя всемогущей, смотрела на них, как на подсудимых, осыпала их бранью и криками «вон!».

Первым делом Дума занялась адресом на имя государя, совершенно ненормальным. Проект его был известен Совету министров, который обсуждал его на заседании 4 мая, причем большинство (девять человек: Горемыкин, я, Бирилев, Фредерикс, Столыпин, Стишинский...⁴⁰) полагали дать ответ по получении адреса, а меньшинство (семь человек: Коковцов, Шванебах, Извольский, Гурко...⁴¹) полагало завтра же прочесть декларацию правительства. При последнем решении адрес все же был бы принят Думой, и тогда получился бы явный конфликт, который потребовал бы немедленного роспуска Думы. На совместную работу с нею, да и вообще на работу Думы, едва ли можно было надеяться; но население возлагало на нее такие большие надежды, что немедленный роспуск ее был бы для него большим разочарованием и надобно было попытаться привлечь ее к работе и дать ей самой возможность показать, способна ли она к ней или нет.

Декларация правительства все же была составлена для оглашения после получения адреса. Государь сделал в ней небольшие изменения, доложенные Совету на заседании его 12 мая.

Среди пожеланий Думы на первый план был выдвинут вопрос об отмене смертной казни. Это было вполне естественно: только угрозой казни правительство могло бороться с преступлениями, которыми революционеры и хулиганы терроризировали население, и Думе, конечно, было желательно отнять у правительства это оружие, так как большинство ее не только отказа-

⁴⁰ Отточие в тексте. — *Ред.*

⁴¹ Отточие в тексте. — *Ред.*

лось выразить порицание этим преступлениям, но даже сочувствовали им; иным членам Думы приходилось опасаться, что и они сами рано или поздно могут подпасть под действие закона, ведущего на виселицу.

По гражданским законам у нас со времен Елисаветы Петровны нет смертной казни⁴²; но даже в том случае, если бы она существовала в общем кодексе, то едва ли применялась бы гражданскими судами ввиду тогдашнего их настроения. В военном законодательстве смертная казнь тоже была сохранена лишь на военное время за некоторые воинские преступления, а равно за важнейшие общие преступления, совершенные в местностях, объявленных на военном положении. В революционный период эти статьи и применялись, а если данная местность и не была объявлена на военном положении, то дела по постановлению министра внутренних дел все же могли передаваться в военный суд для суждения по законам военного времени. Военное ведомство во всех этих делах играло чисто служебную роль: его суды должны были разбирать дела, которые ему передавались, и выносить по ним смертные приговоры. Не говоря уже о том, насколько все это было тяжело в нравственном отношении, но на военные суды возлагалась громадная работа, и против них, а косвенно и против всей армии, возбуждалась ненависть населения.

Совет министров признавал желательным, чтобы по вопросу об отмене смертной казни⁴³ был дан ответ в Думе, и на заседании 20 мая предложил мне взять это на себя. Я заявил, что военное ведомство в суждении гражданских дел по законам военного времени является только исполнителем и что ответ должен дать тот, который передает эти дела военному суду. Горемыкин, Щегловитов, Столыпин и другие члены Совета стали наседать на меня, чтобы я все же выступил в Думе или послал туда кого-либо из своих подчиненных, очевидно для того, чтобы самим остаться в стороне от этого дела. Чтобы покончить эти разговоры, я заявил, что пока я — министр, то не только сам не выступлю с объяснениями по чужому делу, но не позволю этого и своим подчиненным, так как это было бы равносильно принятию на ответственность военного ведомства того, за что оно отвечать не может и не должно. После этого пошли речи иные: признали, что я прав, что действительно не стоит выступать ни мне, ни кому-либо другому, кто мог бы считаться представителем армии, и что, кроме того, тут нужны объяснения не по существу, а лишь чисто формальные, что уже является прямым делом техники этого дела — главного военного прокурора. С такой постановкой вопроса пришлось согласиться.

Вслед за тем Павлов выступил в Думе; его, конечно, приняли отвратительно. Уже 3 июня он нарочно приехал ко мне в Царское жаловаться на то, что все газеты его травят, возлагая лично на него ответственность за строгость военных судов и одиум смертных казней. Вскоре после того он получил предупреждение от тайной полиции, что на него готовится покушение, и перестал почти вовсе выходить из своей квартиры, а в конце декабря все же был убит. Я уже говорил, что Павлов был нелюбим в военно-судебном ведомстве, чистка же этого ведомства не замедлила сделать его имя ненавистным. В Думе были изгнанные при нем из военно-судебного ведомства лица, в печати они также подвизались, и все эти личные враги Павлова воспользовались предлогом, чтобы ненавистного им человека очернить и сделать ненавистным всему обществу.

Говоря по правде, Павлов сам был чуть ли не человеконенавистником. В его лице я впервые увидел начальника, не хлопчущего почти никогда за своих подчиненных. Ввиду тяжести службы в смутное время я испросил в 1905 или 1906 году лишние награды военнослужащим и предложил Павлову испросить таковые и для чинов своего ведомства, несших очень тяжелую службу. Павлов признавал это лишним, так как они ведь только исполняют свой долг и, кроме того, их положение значительно улучшилось вследствие начавшегося в ведомстве быстрого

⁴² Кроме только преступлений: против особы государя и некоторых других, совсем исключительных.

⁴³ И в частности — о казнях в Риге, о которых Дума сделала запрос.

движения по службе. Награды были назначены только по моему категорическому указанию; но в своих возражениях Павлов обрисовывается вполне: сам добросовестнейший служака, точнейший исполнитель закона, он и от других требовал того же, а исполнение наиболее тяжелой службы считал лишь исполнением служебного долга и не видел в нем повода к каким-либо особым наградам. Вместе с тем у него всякая вина была виновата, и он лишь с трудом находил поводы для снисхождения. Я его искренне уважал как цельного, твердого и честного человека, но ему не симпатизировал.

В конце мая или в начале июня в Белостоке произошли беспорядки, вызванные евреями и подавленные войсками. Инцидент этот был раздут, и Дума решила послать туда свою следственную комиссию. Белосток состоял не то на военном положении, не то на положении усиленной охраны, и в нем обязанности генерал-губернатора были возложены на начальника 4-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанта Бадера, которому Столыпин секретной телеграммой предписал выслать комиссию из своего района тотчас по ее прибытии, но Бадер этого приказания не исполнил, и комиссия сделала свое дело: собрала показания и жалобы евреев и представила их Думе; докладчиком комиссии был профессор Щепкин. 18 июня я получил от государя записку с приказанием быть на заседании Думы по этому делу для защиты войск от нападков на них, и это приказание было подтверждено при личном моем докладе 20 июня. Поручение это было тяжелое. Вообще неприятно выступать перед враждебно настроенной аудиторией, а тут приходилось идти на неизбежный скандал, причем я мог быть уверен, что меня лично и армию обругают, а между тем я не имел никакой уверенности в том, что правительство за меня заступится, не имел полномочия на скандал и ругань, отвечая тем же. На оскорбление правительства и армии было бы наиболее естественно ответить роспуском Думы, но уже многих представителей правительства оскорбляли в Думе совершенно безнаказанно; наконец, мне вовсе не улыбалось быть участником такого скандала, из-за которого пришлось бы распустить Думу, так как вину в этом охотно возложили бы на меня. Я был далек от всех вопросов внутренней политики, но все же знал, что на роспуск Думы не решаются и что идет речь о привлечении в состав кабинета умеренных ее членов, чтобы попробовать работать с нею. Я не брался судить о том, насколько это было возможно и желательно, но не желал бы являться и помехой в этой комбинации. Однако рассуждать не приходилось — я должен был выступить в Думе. В приеме, какой я встречу, не могло быть сомнения; со своей стороны, я решил не оставаться в долгу и на ругань ответить тем же, предоставляя правительству одобрить мои действия или отказаться от меня.

20 июня было заседание Совета министров; я считал лишним испрашивать какие-либо указания Совета по поводу моего выступления, так как уже сам решил, как буду отвечать, и, с другой стороны, не рассчитывал, что он меня непременно поддержит даже в том случае, если я поступлю по его указаниям, так как Совет чувствовал себя просто растерянным и сам еще не знал, какую позицию ему придется занять. На этом заседании я видел барона Фредерикса и сказал ему, что выступлю 22 июня в Думе по Белостокскому делу и жду такого скандала, что мне придется снять мундир.

На следующий день я был в заседании Совета обороны в Красном Селе. По его окончании (в половине одиннадцатого вечера) великий князь Николай Николаевич меня задержал; он знал о предстоявшем мне выступлении в Думе (от Фредерикса?) и сказал, что мне нельзя выступать, так как это может вызвать скандал, могущий повредить комбинации о преобразовании Министерства. Я ответил, что имею приказание государя.

Он немедленно потребовал свою тройку и помчался в Петергоф к государю. На следующее утро, 22 июня, в половине девятого, камердинер государя по телефону передал мне из Петергофа в Царское повеление государя, что мне не надо ехать в город⁴⁴; я его получил за час

⁴⁴ Государь не любил сам говорить по телефону, и спешные его приказания передавались по телефону камердинером.

до уже назначенного выезда для выступления в Думе. Откровенно скажу, я был чрезвычайно рад. Дума ругалась в этот день вовсю, но без представителя правительства.

Однако все соображения о каком-либо соглашении с Думой и о совместной с нею работе вскоре оказались несостоятельными и ее решили распустить. В отношении первой Думы это было делом нелегким: она сама считала себя призванной не только для вершения текущих законодательных дел, но для переустройства России на новых началах, да и народ возлагал на нее преувеличенные надежды. Разочароваться в ней успела только благоразумная часть общества, составляющая меньшинство, а массы еще верили в нее и в возможность выполнения всех ее пожеланий и восторгались хлесткой и беззастенчивой критикой всего существующего, раздававшейся в ее стенах. В самой Думе было немало революционеров, которые в случае ее роспуска могли поднять беспорядки как в столице, так и в провинции. Необходимо было поэтому принять особые меры предосторожности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.